7058
39

Карсавин Л. П.

Феноменология революции.

Берлин, 1926.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ

1

«Что же будет дальше, профессор? От Вас, как от историка, мы ожидаем ответа. Когда это кончится?» — Такие вопросы приходилось мне часто слышать в начале большевицкого господства. От точных хронологических указаний я, разумеется, воздерживался; но, чтобы окончательно не уронить авторитета исторической науки в глазах вопрошающих, все-таки отвечал: «Да лет через десять наладится». Названный срок, по своей продолжительности равно неприятный и мне и моим собеседникам, имеет за собой некоторые основания и до сих пор событиями еще не опровергнут. Впрочем, указывал я на него также и в силу внутреннего негодования на моих товарищей по науке. Те немногие из них, которые когда-то защищали идею исторических законов, упорно увиливали от конкретных прогнозов или несли явную чушь. Большинство с невозмутимым самодовольством и неприличным равнодушием к происходившему повторяли шаблонные фразы из школьных «методологий» и «философий истории» (составленных преимущественно по Риккерту), как-то: «Исторических законов не существует», «История не повторяется». А тем временем полуобразованные публицисты на свой страх искали аналогии между Керенским и... Сен-Жюстом (почему именно Сен-Жюстом? — но сам читал фельетон на эту тему) и на основании подобных аналогий пытались пророчествовать о... будущем Бонапарте. В конце концов появились пророки даже из мира естественно-научного, обратившиеся к аналогиям из жизни животных и растений (тоже сам читал). Увереннее всех строили схемы будущего, конечно, сами большевики. Но их построения были лишь неудачными попытками по ученому (ведь больше всего уважают «научность» именно большевики) выразить свои неясные желания и надежды. Путаница весьма понятная, если вспомнить, что элементарность не только большевицких, а и вообще социалистических теорий необходимо предполагает и соответственную элементарность сознания или, по выражению, кажется, Ленина, «физическую силу мысли».

История, конечно, не повторяется в смысле, напоминающем «повто-

010-567

рение» естественно-научных «законов»; и понимающий свое дело историк не ищет подобных этим «законам» отвлеченных формул. С другой стороны, внешняя аналогия — плохой метод , который давно пора предоставить теософскому скудоумию с его «астральными клише». Однако же, не случайно, в самом деле, историки пользуются «общими» понятиями, а среди них — и понятием революции И не мнимо, а действительно «сходство» процессов, обозначаемых этим термином, — хотя бы в применении к таким «великим революциям», как английская (1640-1653-1660), французская (1789-1800-1815) и обе русские (1598-1610-1613, т. е. «Смута», и 1917 —). Перед нами, несомненно, явления однородные. Если же так, то можно определить природу революции и дать ее феноменологию.

В исторической действительности существуют «общие» процессы. Но они не являются особою, отвлеченною от нее сферою бытия, отвлеченными «законами», которые бы управляли ею, ограничивали свободу исторических суб'ектов и удачно выражались в условных суждениях История — по преимуществу сфера непрерывности и свободы Исторически-общее — единство множества «Общий процесс» в истории можно уподобить развитию организма (например — человеческого) по отношению к каждому конкретному развивающемуся организму (например — данному человеку) Ведь нет ни отвлеченного организма ни отвлеченного развития, но всякое развитие осуществляется и существует только во всем множестве об'емлемых им индивидуальных организмов. Само собой разумеется, что «общее» развитие в истории так же не противоречит развитию «общего» (человечества), как развитие особи не противоречит развитию вида.

Развитие предполагает то, что развивается, т. е. суб'ект развития, в исторической же действительности обязательно — личность. Приэтом развитие не является каким то самобытием, но и есть сам развивающийся суб'ект (сама развивающаяся личность). В истории суб'ектами развития могут быть как индивидуумы, так и (в случае «общего» развития) коллективные или соборные, симфонические личности (например — группа, народ, культура,*) человечество). В допущении симфонических личностей нет еще никакого ипостазирования отвлеченностей. Ибо не предполагаем, что симфоническая личность обладает бытием *вне* своих индивидуаций (на-

*) Во избежание неологизма сознательно употребляем в этой статье термин «культура» в двух смыслах. — Культура это, во первых. симфоническая личность (культуро-личность, культуро-суб'ект), что близко к пониманию культуры *Данилевским* и к словоупотреблению *Шпенглера*, и, во вторых, осуществленные возможности и продукты культуро-личности, как бы застывшие и от нее отрывающиеся, что совпадает с наиболее обычным словоупотреблением. Никаких особых трудностей из двусмысленности термина «культура» не проистекает, ибо значение его всегда ясно из контекста. К тому же продукты деятельности личности всегда органически с нею связаны.

ЦГАОР
7058 3р
ЛИНГОХРАНИЛИЩЕ УСЛУГЪ Н. К. В. Д.

пример, культура или народы — вне составляющих их индивидуумов), хотя отрицаем отожествление симфонической личности с арифметическою суммою индивидуумов. Точно также, признавая себя личностью, которая осуществляется и существует во *всем* моем развитии, я этим отнюдь не утверждаю, будто существует мое отвлеченное, «пустое» «я» и будто оно воздействует причинно на любой момент моего развития.

Различие между индивидуальным и общим сводится таким образом на различие между индивидуумом и симфонической личностью, причем первый и есть свободная самоиндивидуализация второй, а вторая — и единство и согласованное множество индивидуумов сразу. Если же так, то необходимо допустить и дальнейшее — Христианская культура, как симфоническая личность, осуществляет себя в ряде низших симфонических личностей (культуры евразийско-русская, европейски-католическая и др.), а эти низшие — в ряде народов, как народы — в последнем счете — в индивидуумах. Проявляет себя симфоническая личность в состояниях или действиях, одним из которых и будет революция.

Мы утверждаем реальное единство и личное бытие человечества и в нем — христанской культуры, ни мало не выступая в защиту так называемой «всемирно-исторической точки зрения» (уж одно название чего стоит!) и еще менее того становясь на сторону нелепой и пагубной для историка идеологии прогресса. В силу же единства самой личности необходимо допустить, что все «однородные» состояния ее не что иное, как раз'единенные в пространстве и времени проявления одного состояния. Таким образом, выражаясь парадоксально, нет революций, а есть одна многообразно проявляющаяся и все же всегда себе самой тожественная революция. Поэтому *въ любой конкретной революции проявляет себя сама революция*, и мы, изучая, например, французскую, тем самым изучаем и всякую другую, ибо изучаем *самое революцию*. Оттого и не бессмысленны рассуждения о «революции вообще», попытки ее понимания и оценки. Современная номиналистическая мысль, впрочем, уже значительно подорванная, упрощает этот факт многоединого состояния. Она разлагает его на утверждение множества конкретных и абсолютно по существу своему раз'единенных революций и на утверждение повторяемости в них некоторого общего процесса, «революции вообще». Отсюда — позитивный социологизм или дурная безжизненная метафизика.

Но познать общий исторический процесс вовсе не значит формулировать нечто во всех конкретных обнаружениях его «повторяющееся», в частности — изобразить необходимый ход всякой революции. — Надо уловить существо и внутреннюю диалектику процесса. А эта диалектика, исчерпывая в истории свои возможности, выразима отнюдь не отвлеченно, но только путем исторического описания конкретных ее проявлений, весьма разнообразных и часто по видимости друг на друга не похожих. Притом для понимания существа процесса достаточно часто и одного только его проявления. Во всяком случае, нет нужды в педантическом подборе «аналогич-

ного» материала, во *внешнем* обобщении. Конечно, без общих слов и потому без *видимости* чего-то повторяющегося практически не обойтись. Но не следует никогда забывать, что эти общие слова и видимые повторения обладают чисто служебным , инструментальным значением.

2

Примерно с половины прошлого столетия постепенно получила преобладающее значение доктрина исторического материализма, несравнимо большее, чем обычно думают. Основная ее предпосылка, одинаково принимаемая как «материалистами», так и «идеалистами», заключается в понимании исторического процесса по образу процессов материально-механических. Исторический процесс мыслится, как сумма причинно взаимосвязанных процессов и — въ конце концов — неизменных фактов. Приэтом о понятии и природе причиной связи просто не думают, вопрос же о том, что такое «сумма» или «система» либо остается совсем без ответа, либо получает ответ в отожествлении «системы» с естественно-научными «законами», толкуемыми так, как уже перестает их толковать само естествознание

Зачатки материалистически-механистической доктрины даны уже в католических религиозно-философских учениях о Провидении (Боссюэ), затем в деизме. Здесь воля Божия уже понимается , как одна из слагающих, как один из «факторов» развития. И весьма показательна цепкость этого религиозного материализма: исходя из него пытаются опровергать исторический материализм современные богоискатели, которые вкривь и вкось рассуждают об истории , не понимая того, что предпосылки их не совместимы с ее существом.

Основная предпосылка исторического материализма с диалектическою необходимостью ведет к более ясному ее выражению. — Формальный материализм (т. е. материалистическая методология или понимание исторического бытия по типу материального) склоняет к постановкѣ во главу угла материальной стороны жизни. Монизм вырождается в материализм. Основа исторического бытия усматривается в материальных, «хозяйственных» процессах, хотя, казалось бы, совершенно ясно, что нельзя отрицать самопроизвольное зарождение и в то же самое время выводить из материи что-либо, кроме материи же. Правда, в силу действительного единства исторического бытия можно познавать его по любому из его проявлений, в том числе и по «организации производства». Отсюда и возникает *видимая* вероподобность некоторых историко-материалистических об'яснений, которая была бы большею, если бы среди историков-материалистов нашлись люди с лучшим научным образованием и критическою трезвостью мысли, но которая всегда будет лишь видимою, ибо читатели, да и сами авторы не замечают очень просто-

го факта подлинным предметом познания является у них не материальная сторона процесса, а сказывающаяся *и въ ней* природа его. К сожалению, понимание этого затруднено психологически. По крайней мере, противники исторического материализма борятся с ним отвергая само единство исторического процесса Материалисты их запугали, и они стремятся лишь к тому, чтобы доказать наличность и других, не материальных «факторов». Но предполагать «факторы», да еще множество их, значит , отвергая единство исторического бытия, понимать его по типу бытия материального, т. е. возвращаться к основной предпосылке исторического материализма и делаться плюралистом. Конечно, это уже некоторый прогресс, если марксист становится плюралистом. Однако от плюрализма до возрождения историзма еще очень далеко.

Подобно противнику исторического материализма защитник его раскрывает свой плюрализм. В связи с возводимыми в первооснову бытия хозяйственными отношениями он раз'единяет симфоническую личность на телоподобные системы, тем отрицая ее, как личность За основное тело он признает класс, т. е. наименее органическое из социальных единств, которое он к тому же до крайности элементаризирует. Как историю классовой борьбы начинает он рассматривать не только современность, а и прошлое, где и классов то никаких не было и приходится отожествлять с ними совсем не похожие на них сословия. Собственно говоря, непоследовательно останавливаться на классе. — Если нет общества, а есть только сумма классов, какие основания допускать существование самого класса? С точки зрения продуманного материализма и класс — только сумма индивидуумов. И разумно ли, отрицая такие симфонические личности, как народ, и даже индивидуальную личность, *верить* в симфоническую личность класса? А в нее, несомненно, верят. — Историки-материалисты говорят и не могут не говорить о классовом *самосознании*, считая его конститутивным моментом в понятии класса, о классовых идеалах, классовой идеологии и т. п. Мало того — в начертании идеального будущего (′) общества они отожествляют класс (бывших пролетариев) с этим обществом. Бывшие люди становятся будущими: только настоящих людей нет.

Гипотеза классового строения общества и вздорное признание классовой борьбы за существо истории очень симптоматичны, отражая действительное разложение современного западного общества, умирание в нем личного начала и упрощение общественных отношений. Богатое разнообразие личной жизни ниспадает в полуживотную сферу и упрощаясь сосредоточивается в элементарных стихиях зависти, жадности и ненависти. Бедность и богатство делаются основными, определяющими категориями социального бытия, идеал которого усматривается в равенстве, распространяемом и на сферу умственную. Ведь естественно и необходимо, что действительному упрощению общества соответствует упрощенное сознание, которое ни в прошлом ни в будущем не способно усмотреть ничего сложного. В. Н. Ильин

удачно подвел и атом и голову социалиста-материалиста под одно общее определение: и тот и другая — «маленькое, круглое и абсолютно не упругое тело». Впрочем, в социалистических теориях все еще живет старое, а частью сказывается даже проблематика реальной жизни. Этитеории идеалистичны. Они молчаливо и бессознательно признают симфонически-личное бытие, хотя бы за классом пролетариев. Они наделяют этот класс, если и не всеми, то многими добродетелями, в частности — добродетелями государственными. Иными словами , они отрицают себя самих, как впрочем, отрицает себя, т. е. погибает, и отражаемая ими действительность.

Не в материализации и механизации, как и не в сведении развития личности на перемены в пространстве и времени, — единственно правильный и опытом мастеров истории оправданный метод исторического знания. Разумеется, всякая историческая личность качествует по разному, и необходимо ее качествования различать. Но ипостазировать их, т. е. считать их личностями либо — что еще хуже — «факторами», «причинами», столь же неправильно, как устанавливать причинные связи между разными психическими свойствами человека или — между его носом и пяткою. Всякая личность — как индивидуальная, так и симфоническая — одинаково живет и хозяйственною, и социальною, и политическою жизнью; и все это— ее качествованйя, *она сама*. В каждом из своих качествований она проявляет себя в *своей* специфичности, хотя и по разному. Их следует различать, особенно же тогда, когда личность в своем развитии уже вышла из стадии первичной «расплавленности» и не находится в стадии «расплавленности» революционной, т. е. тогда, когда налицо ограниченность проявлений личности в каждом из ее качествований и они противостоят друг другу, как особые сферы и окостеневшие традиционные формы, как прошлое ставшее костяком настоящего. Но никогда не следует за взаимопротивопоставленностью разных качествований забывать о их существенном единстве и ставить вопрос о их причинном взаимоотношении иначе, как в порядке методологического удобства. Эмпирически симфоническая личность выражает себя в разных своих качествованиях с неодинаковою полнотою и в зависимости от многого иногда больше в одном из них, иногда в другом: то по преимуществу политически, то по преимуществу экономически, религиозно, и т. д. Поэтому методологически важно всегда исходить из качествования, наиболее показательного именно в данный период развития. Для периода революции таким наиболее показательным качествованием является *политическое*, и по существу наиболее важное, ибо *политическое есть отнесенное к единству*. И если вообще историческое миросозерцание весьма пострадало от пренебрежительного отношения к проблемам политической истории, это особенно справедливо в области изучения революции.

3

Таким образом в основу истории мы кладем учение о личности , признавая, в частности , симфоническими личностями и народ и культуру. Раз симфоническая личность существует действительно , т. е. раз она поднимается над своим бытием в возможности, она необходимо обладает и формою своего личного бытия. Эту форму можно определить как систему взаимоотношений между актуализующими данную симфоническую личность индивидуумами, систему видимо выражающую их единство и отделяющую его от других подобных ему единств (от других «народов», «культур»).

И сама симфоническая личность и выражающая ее система пространственно и временно превышают эмпирическую индивидуальную личность. В эмпирической жизни всякой симфонической личности всегда наличествуют ее прошлое, как традиция, и ее будущее , как желания, надежды, цели. Но полнота симфонической личности, сама симфоничность или соборность ее, эмпирически не осуществима. Ведь осуществленность соборности предполагает, что всякий акт симфонической личности является свободным согласованием *всего* множества индивидуальных актов, которые «слагают» соборный и осуществляют в нем каждый свое В полноте своей симфоническая личность выше пространственно-временных раз'единений, необходимости и свободы, небытия и бытия Такая полнота достижима в Церкви, но не в эмпирии. В эмпирии же неизбежна неполнота соборности, ограниченность личности и ее свободы. Эмпирически неизбежны пассивность и угнетаемость одних, противление и насильничество других, соглашение и принуждение.

Начало принуждения или власти характеризует систему, которая выражает в эмпирии симфоническую личность. Ее сознание и воля для того, чтобы действительно быть, стремятся к эмпирическому выражению и находят себе такое в *правящем слое*. Он, разумеется, выражает волю и сознание симфонической личности несовершенно, о чем свидетельствует его противопоставленность остальному обществу и, стало быть, ограниченность. Ограниченно им понимаемую волю симфонической личности он осуществляет путем принуждения. Между ним и особенно тою «частью» его, которую принято называть государственною властью или правительством, с одной стороны, и «управляемыми» или «подданными», с другой, всегда существует некоторое натяжение, повторяющееся и во внутренних конфликтах всякого индивидуального сознания, например — в захватывающей индивидуума борьбе «эгоистических» (личных, сословных, классовых) мотивов с мотивами «государственными», «патриотическими» и т. п.

Политическому качествованию данной симфонической личности причастны в той или иной мере все составляющие ее индивидуумы, хотя бы в порядке пассивного послушания. Но только, те , которые «политичны» наиболее сознательно и действенно , составляют правящий слой. Таким пра-

вящим слоем в России до революции было все так называемое интеллигентное общество, от правительства до самых крайних революционеров. Из правящего слоя органически вырастает правительство, которое эмпирически и выражает некоторый онтологический факт — реальное единство симфонической личности. По онтологическому корню своему всякая власть от Бога, ибо Бог творит всякую личность, и индивидуума, и народ, и культуру. Но не следует смешивать онтологического происхождения власти с конкретною эмпирическою властью. Эмпирическое бытие есть греховное бытие; и не может быть эмпирическая власть совершенною, ибо все грешны, все до одного. Перенесение Божественности с принципа власти на ее эмпиричность, т. е. на конкретную историческую власть, равнозначно языческому обожению власти. При таком обожении приходится признавать власть неизменною и безошибочною, т. е. во имя даже окостеневшего прошлого отвергать всякую новизну, всякое развитие, т е. отрицать самое жизнь.

Вполне понятно, что люди пережившие в революции отрицание самого принципа власти (вполне ли пережившие, если многие еще продолжают его отрицать, не признавая большевиков властью на том основании, что они захватчики, и противопоставляя реальной народной, хотя бы и плохой власти нереальную мечту о власти, которой нет?) и дикое разрушение всякой старины, готовы даже преувеличенно подчеркивать Божественность власти и смешивать принцип с фактом. Мне кажется подобное умонастроение весьма опасным , тем более, что несомненно понизилась и умственная культура. Читающая толпа не различает между сознающими свою ответственность философами, с одной стороны, и писателями , имеющими смелость выражать свои обывательские мысли в философских терминах, с другой. Еще меньше способна она разобраться в самих понятиях, которые требуют точных различений, не всегда доступных и самим писателям Поэтому совершенно справедливое, хотя и не новое оправдание Божественного начала власти и иерархии смешивается с оправданием данной конкретной власти и данной конкретной иерархии, т. е., в конце концов, определенных персон. Однако едва ли можно отфилософствовать факты и доказать Божественную необходимость подчиняться Распутину или Ленину и уважать недоучившуюся молодежь.

Божественному принципу иерархии надо противопоставить Божественный же принцип равенства. Если мечтать об абсолютной иерархии и абсолютном осуществлении власти , надо мечтать и об абсолютной демократии и об абсолютном равенстве. Если же мириться с неполнотой равенства и демократии, наибольшим приближением к которой был анархический период русской революции, справедливо и последовательно мириться и с проявлениями духа мятежа.

В совершенном бытии антиномии превозмогаются, не исключая друг друга, но сливаясь в гармоническое целое. Но не надо из боязни погрешить или ошибиться отказываться от метафизических изысканий, т. е. засорять

действительность эмпирическую дурною и пагубною метафизикою, наивно отожествлять эмпирическое с абсолютным. — Божественно начало власти и Божественна власть. Но если незакономерно обожается конкретная эмпирическая власть, — старина заедает новизну, живое останавливается и умирает. Божественно и начало борьбы со стариной. Но мятеж разрушает и старое и новое. Эмпирия несовершенна. Эмпирически нет власти без насилия и жизни без мятежа. И эмпирия может примирить старое с новым только путем половинчатости и довольно жалких компромиссов, вечно балансируя между тупым охранительством и диким новаторством. Конечно, возможны сравнительно мягкие формы борьбы между двумя принципами, возможны и желательны, но, к несчастию, редко осуществимы. Сама же борьба эмпирически неустранима. И вместо того, чтобы тешить себя розовенькими надеждами на идеальное самодержавие или идеальную демократию, надо осознать эту эмпирическую неустранимость. Если мы хотим создать государство без греха, мы должны победить эмпирию. Но тогда не будет уже *эмпирического* государства, а останется одна совершенная Церковь. Путь к этому известен. Только он, как христиански совершенное отношение к власти и миру, как христиански совершенная жизнь, равнозначен эмпирической гибели индивидуума, принесению им себя в жертву за мир. К этому пути относятся слова о повиновении «властям предержащим» (т. е. «существующим», а не «законным» только), о смирении и необходимости повиноваться Богу больше, чем человекам.

Симфоническая личность не обладает личным бытием, т. е. эмпирически еще или уже не существует, если нет в ней правящего слоя и правительства, если не выливается она в форму четкой государственности. Чем полнее ее личное бытие, чем сильнее ее личное самосознание, тем отчетливее и могущественнее ее государственная власть. Поэтому то в ранний, здоровый период истории данного народа и в периоды под'ема его самосознания государственная власть и внешне предстает как единая и даже единоличная. Напротив, «рассеяние» государственности всегда является симптомом временного угнетения или даже умирания народа. Подобное рассеяние мы наблюдали перед войной и наблюдаем еще и сейчас, одинаково и в монархиях и в так называемых демократиях. Совершенно напрасно из войны стараются извлечь аргументы в пользу последних. — Война далеко еще не закончилась; и пока в ней нет победителей: только побежденные. Процессы же, происходящие, с одной стороны, например, во Франции, с другой — в России, просто несравнимы. В России падение правящего слоя сопровождается созданием нового; во Франции продолжает свое бытие прежняя парламентская олигархия, и нового правящего слоя что-то незаметно. Не даром наиболее талантливые политики во Франции — люди весьма почтенного возраста.

Каким образом правящий слой и правительство познают и выражают волю народа? — Разумеется, не путем опроса и бесед. Ведь ни один акт государственной власти не является вполне понятным большинству народа,

а большинство таких актов остаются непонятными и даже неизвестными всем. Многие не понимают Версальского договора; человеку же, способному понять новый немецкий «Aufwertungsgesetz», смело можно доверить толкование Апокалипсиса Не определима воля народа и чрез посредство выбранного по четырехвостке парламента Ведь парламент сам — часть правительства и рекрутируется даже не из всего правящего слоя, а из особой группы в нем — из среды профессионалов-парламентариев, профессоров и газетчиков Парламент уже потому не в состоянии выражать волю народа, что народ вынужден выбирать не людей, а бумажки (партийные программы); бумажки же эти ничего конкретного (если не считать за таковое неопределенных посулов) в себе не содержат и в самых критических случаях (— война должны уступать место силе персон — членам парламента, находчивост и мудрость которых редко кому известна за пределами самого учреждени К тому же мудрость коллегии обратно пропорциональна ее величине и несмненно понижает умственную деятельность всякого ее сочлена, что прекрасно выражено в словах римского императора: «senatores optimi viri, senatus mala bestia». С другой стороны, «scrutin de liste» и прямые выборы — вещи, друг друга исключающие; а что выйдет из разных реформ, мы еще увидим. Во всяком случае, западно-европейские рассуждения «solidarité» пока что философски убоги.

Не осуществляется связь правительства с народом и в партии. Партия и есть уже правящий слой. Ее идеология и программа вырабатываются в ней самой, сверху, а не снизу. Они могут оформлять желания народа лишь в том случае, если сама партия находится «ним в органической связи. Ведь и социалистическая теория вовсе не выражение классового самосознания пролетаритата, а интеллигентская выдумка. — Интеллигенты выдумали и продолжают «совершенствовать» утопическую теорию И совершенно неправильно называть «пролетарским самосознанием» хитроумные и отвлеченные построения интеллигентов или грошовую, а частью и заборную литературу полуинтеллигентов. Социалистические программы такое же средство ассимилации правящим слоем подымающихся в него снизу, как и газеты. Факт одобрения социалистических программ многими рабочими нисколько не показателен. Напротив, очень показательно, *как* начинают жить и *что* начинают осуществлять эти рабочие, когда они переходят в ряды полуинтеллигенции или захватывают власть и принимаются за борьбу с капиталом (не с капиталистами). Социалистическое движение чистейшее самозванство, очень часто искреннее; но искренним самозванцем был и Лже-Димитрий. К тому же весьма вероятно, что рабочий класс в современном обществе примерно так же относится к современной культуре , как римские рабы относились к культуре эллинистической. Я хочу сказать, что западный «пролетариат» содержит в себе *возможности* иной новой культуры. Некоторые из этих возможностей «социалистами» улавливаются, но сейчас

же ими и искажаются в неудачных «переводах» на язык «буржуазной» культуры.

Действительность несравнимо сложнее, глубже и интереснее, чем те модные ныне особенно в России графики, да схемы, которыми пытаются ее изобразить. — «Народ», конечно, не метафора и не безразличность, не «первая материя». Он всегда определен некоторыми желаниями, стремлениями, идеями. Только все это приобретает действительность не в заявлениях толпы, массы, голосующего населения, не в ясных программах и формулах, а — в руководящих личностях. Личности осуществляют национальные возможности, не исчерпываемые и не выразимые до конца на языке отвлеченных понятий. Результат выборов с.-р. в Учредительное Собрание никакой народной воли не выражал, а Петр Великий, Ломоносов, Пушкин были подлинными выразителями народной воли и народного духа. Говоривший с надрывом провинциального трагика от имени народа какой-нибудь Керенский никогда ничего народного не выражал, а угнетавший от имени интернационала русских людей Ленин кое-что выразил, как, с другой стороны, и генерал Корнилов.

При нормальных условиях национальные возможности осуществляются через правящий слой, который органически вырастает из народа и в себе, как в микрокосме, выражает народный космос. Он осуществляет и оформляет возможности народа тем самым, что осуществляет свои собственные возможности. И если такое нормальное соотношение в общем существует (а по эмпирическому несовершенству оно может существовать только «в общем»),— мы говорим о «национальной» политике правительства, о «народности» того, либо иного государя, государственного деятеля, о «национальном» значении какой-нибудь группы, партии, интеллигенции и т. п. И правящий слой в целом и правительство остаются национальными до той поры, пока они находятся в реальном и органическом взаимообщении с народным материком. Но формы этого взаимообщения могут быть очень различными: оно одинаково возможно и в деспотии и в крайних формах демократии. Формы взаимообщения зависят от многих условий; и не в них, а в неисчерпываемой рациональными формулами органической связи заключается существо. Если нет органической связи, парламент выражает народную волю не лучше, чем самая себялюбивая олигархия и самый нелепый деспот; если такая связь есть, неограниченный монарх осуществит народные идеалы скорее и лучше, чем самый совершенный с технической стороны парламент. Выдвигая существо дела, я не хочу этим сказать, что формы взаимообщения безразличны, что они не подлежат совершенствованию и не обладают разною степенью практического удобства и прочности. Но целесообразность их стоит в зависимости от их органичности и народности. Органически связанный с местным самоуправлением и народный английский парламент становится органом искажения народной воли в бюрократической Франции. Учредительное собрание связывается с русским народным духом только

в пошлом имени «учредилка». Необходимо отличать существо от формы и отказаться от веры в единоспасительность второй, тем более , что она чаще всего чужеродна и абстрактна. Нельзя смешивать основного процесса с его эпифеноменами. Так основным процессом современности является кризис власти, заключающийся в разрыве правящего слоя и правительства с народом и в оскудении первых двух. Благодаря же смешению основного процесса с эпифеноменами этот кризис власти считают кризисом монархии, кризисом парламентаризма и т. д. , формою подменяя содержание. Поэтому ошибочно надеяться на исцеление больной монархии путем введения парламентаризма, привозимого из заграницы хотя бы и не в пломбированном вагоне, или на исцеление немощной республики посредством диктатуры. Все подобные попытки — плод наивного рационализма , который верит в общеобязательную схему развития и, считая существом внешние формы , органических процессов не понимает.

Мы знаем уже ,что в государственном бытии народа необходима категория господства-подчинения. В связи с этим стоит не устранимый никакими формами факт: рано или поздно правящий слой отрывается от народа и замыкается в себе. Замыкаясь же в себе и теряя органическую связь с народом , правящий слой перестает его понимать, быстро денационализируется и вырождается, хотя, по свойственной людям наивности, может до самой смерти своей считать себя выразителем народной стихии. Последнему весьма способствует усвоение чужеродного (у нас — «европеизация»), естественное при изживании своего. Ведь чужое конкретно лишь у себя на родине и осваивается только в абстрактной форме. А все абстрактное своею мнимою ясностью и безжизненною простотою особенно привлекательно для разлагающегося и потому рационалистического сознания. Абстрактное — космополитично и «социологично». Оно склоняет к утешительной вере в общеобязательный путь исторического развития и к признанию мнимого общего блага народным благом. И зло абстрактности глубже, чем думают современные наши интеллигенты, обвиняющие в абстрактности социалистов и кадетов. Ведь те же самые интеллигенты считают логический идиотизм «религиозно-философских» творений Льва Толстого глубокими исканиями, а его топорные иллюстрации к психологическим учебникам английских эмпириков называют знанием человеческой души.

Чем далее, тем глубже пропасть между правящим слоем и народом. Переход из второго в первый все более связан с потерею национального лица и внешним приспособлением. А так как ассимилирующая сила правящего слоя тоже идет на убыль, он понижается в своем качестве, разжижаемый полуинтеллигенцией. Революционная недократия и революционное преуспеяние самоучек только завершают давний процесс, уже выдвинувший на пост обер-прокурора Святейшего Синода Н. П. Раева, в министры просвещения — генералов Ванновского и Глазова, в профессора — разных доморощенных «социологов».

От'единение правящего слоя является распадом или разложением самой симфонической народной личности. Но оно вместе с тем и саморазложение правящего слоя, которое высокопарно называют борьбою общества (и даже народа!) с властью. Правда, обе стороны — и «общество» и «власть» — ссылаются на народ и считают себя выразителями его воли Но обе одинаково ошибаются или, по крайней мере, «преувеличивают». Их вражда — вражда внутренняя, семейная, до которой народу мало дела. Обе составляют один правящий слой, крестьян считают пейзанами и иногда даже осознают свое родство, хотя задним числом и по истечении долгого времени. Так и проэкты Сперанского заносятся в почетный ряд памятников борьбы с самодержавием или интеллигенты заказывают 14 декабря панихиду по... императоре Николае I. Нравы меняются, но существо дела, т. е. принадлежность интеллигенции к правящему слою, остается тем же

В период своего возникновения правящий слой может быть и чужеродным — создающими государственную власть в Киевской Руси варягами или, если угодно , прибывшими в запломбированных вагонах большевиками, которые выводят Россию из анархии. Более или менее скоро такой правящий слой либо ассимилируется и перерождается в народный, либо—в случае неподверженности его ассимиляции — погибает и заменяется новым. В период своего расцвета правящий слой не является ни сословным ни классовым, как ни сословна государственная власть Франции при Генрихе IV и Ришелье, даже при Людовике XIV. Но отрыв и самозамыкание правящего слоя, действительно, делают его сословным или сливают с каким нибудь сословием или классом. Это еще не денационализирует правящего слоя. Однако вместе с прогрессирующим вырождением национальное, народное все больше и больше отступает на задний план , оставляя безжизненные абстрактные схемы , с легкостью заполняемые иноземным содержанием. Дольше всего национальное сохраняется в области духовной культуры — в самых зрелых , но и самых поздних плодах развития. Расцвет литературы и науки чаще всего предвозвещает конец осознающей себя в саморазложении культуры. Литераторы и ученые притязают на роль вождей в обетованную землю; и до сих пор таких пустомель, как Вольтер, принято считать предшественниками революции. На самом деле Вольтеры и Руссо более всего отражают и осмысляют умирающее прошлое, как в свое время Бомануар осмыслял уже умиравший феодальный быт.

Для вырождающегося правящего слоя характерна его оторванность от народа, т. е. в частности абстрактность, денационализованность, и превращение его в замкнутую социальную группу, в «сословие» или «класс». В то время как правящий слой вырождаясь становится сословием, само сословие утрачивает свой органический характер: освобождается от своих обязанностей, безответственно сохраняя свои права и привилегии. Если заменить реальные привилегии сословия, которое уже не обладает или даже никогда по настоящему не обладало (как у нас в России, где «сословность» кон-

ституирована «Жалованной Грамотой») сознанием своих обязанностей, своей «функциональности», вожделениями на привилегии, — мы и получим то, что называется «классом», элементарнейшим и характерным для умирающей культуры об'единением.

Итак вырождаясь правящий слой распадается на слабеющее и глупеющее правительство и на будирующую интеллигенцию, которая, вероятно, себя так называет под влиянием ассоциации по контрасту. Но разрыв правящего слоя с народом выражается еще и в том, что внизу, в «управляемых» остается лишь слепая государственная стихия. Все, что подымается в правящий слой, перестает быть народным, либо ассимилируясь, либо погибая Правящий слой роковым образом слабеет, стихийная же государственная мощь низов может при благоприятных условиях снести загнившую верхушку, но для того, чтобы создать или ассимилировать новый правящий слой, во всяком случае, нуждается в длительном периоде времени Такой благоприятный исход предполагает, что процесс разложения не уничтожил живых сил симфонической личности, что он был либо поверхностным процессом, либо реакцией здорового организма на какую нибудь заразную болезнь.

Длительный процесс вырождения правящего слоя, уничтожения его национальною государственною стихиею и создания нового правящего слоя я и называю *революцией* Она мне представляется опасною болезнью симфонической личности, могущею привести не к новой государственности, а к смерти, к превращению народа в простой этнографический материал. Во всяком случае , революция — явление неприятное и гнусное, но, к несчастью, время от времени неизбежное. *Революция — факт политической истории* и подлежит изучению именно с этой точки зрения. Но, расплавляя народную жизнь, революция об'емлет все ее сферы Она разрушает исторически сложившиеся перегородки между собственно-политическим, социальным, экономическим , бытовым и т д., являя всю расплавленную ею народную жизнь в аспекте политического бытия. В эпоху революции политикой становится не только писание бумаг, а и выпечка хлеба. Утвердившееся деление революций на политические и социальные еще хуже, чем деление их на буржуазные и социалистические. Иллюзию «социально-экономического» процесса создают , с одной стороны, обусловленное умиранием европейской культуры непонимание государственности , как формы симфонически-личного бытия, а с другой стороны — тот факт, что революция захватывает все сферы жизни и обостряет конфликт между бедными и богатыми. Но первые могут и не исповедовать религии Карла Маркса.

4

Первая фаза революции должна быть определена , как вырождение и гибель старого правящего слоя. Это по существу и имеется в виду, когда

историки декламируют о «старом режиме». Однако они незакономерно суживают проблему. Именно — под «старым режимом» разумеют частью старые формы государственности (ср. выше) и связанный с ними общественный строй, частью — персональный состав правительства. Правящий слой в целом не опознается. Поэтому борьбу интеллигенции с правительством рассматривают как борьбу «народа» с властью (извозчики и красноярцы, избивающие «студентов», к «народу», конечно, не причисляются). Идеологию этой интеллигенции (просветительную философию XVIII в., русскую публицистику) признают выражением чаяний народа. Сама же интеллигенция наивно верит, что измышленные или заимствованные ею идейки формулируют идеалы народа и что народ не отожествляет ее с правительством и не пользуется ею только как временным орудием.

Предполагают, будто народ чрез посредство своего «авангарда» — интеллигенции мощно (интеллигент очень любит считать себя «мощным») разрушает «твердыни» старой власти и приступает к творческому созидательному труду (главным образом в порядке составления резолюций), но здесь почему-то озверевший и, конечно, темный народ отстраняет мудрых мужей совета и ввергается в анархию. На самом деле никто так, как это обычно изображается, старой власти не разрушает. — Правящий слой и правительство, как орган его, погибают в *саморазложении*; и *одно из проявлений этого саморазложения — борьба интеллигенции с правительством.* Революционная идеология интеллигенции — продукт разложения старой государственной идеологии, худосочный плод истощенной почвы. Она — такое же самоопределение правящего слоя, как и идеология правительства. Умиранием *всего* правящего слоя об'ясняются удручающая элементарность и безжизненность всяких предреволюционных и революционных проектов, программ, теорий и «философий». И ничтожность интеллигентской идеологии находит себе блестящее подтверждение в государственной негодности интеллигенции, когда она «революционно» захватывает власть. Долгий парламент, французские национальные собрания в эпоху революции, русские учредительное собрание и временное правительство стоят убедительными и укоризненными примерами.

Конечно, даже в саморазложении правящий слой до некоторой степени может выражать народную волю и обнаруживать некоторые специфические национальные черты, только не лучшие и политически наиболее ничтожные. — Власть не отдает себе отчета в серьезности начавшейся войны, а общество этой войне сочувствует. Дипломатическая одаренность русского человека вырождается в лицемерие государя со своими министрами. На место старца, как носителя религиозного идеала, выдвигается в литературе — красный старец (Лука у Горького), при дворе — Распутин. Разумеется, в борьбе интеллигенции с правительством с обеих сторон ставятся и национально важные задачи; но эти проблемы ставятся либо отрицательно либо абстрактно. Так интеллигенция была права в протестах своих против не-

лепо обрусительной политики, правительство — в борьбе с политиканством молодежи. Но мало конкретного и национально важного в русском империализме или в «оппозиции Его Величества» и парламентаризме на английский манер. Забота о меньшом брате, народолюбие, мечты о справедливом общественном строе — вещи прекрасные, мечты о благе всего человечества — еще лучше. И то и другое интимно связано с русским народным характером. Но вера в осуществимость абстрактной мечты не свидетельствует о чутье к конкретному. От кадетской программы далеко до русской действительности, что и подтверждено ходом событий, а от «снов Веры Павловны» т. е. социалистических программ, еще дальше до какой-бы то ни было действительности, что даже в подтверждении не нуждается.

Подчеркивая, что отличительною чертою революции является *саморазложение всего* правящего слоя, мы не отрицаем, что по существу именно народ заменяет этот слой новым *Народ* уничтожает весь правящий слой, как таковой; и делает это с мудрою постепенностью — сначала устраняя правительство, потом — обезглавившую себя интеллигенцию. Только это не активное уничтожение, а — отказ в поддержке тому, кто явно сам себя губит. Но народ уничтожает старую государственность и в себе самом и в то же время ищет новых людей, выдвигая их из своих недр или подбирая подходящих, хотя бы и во многом стеснительных людей из старой правящей среды с тем, чтобы потом их или переработать или за миновением надобности устранить.

Революционный процесс сказывается прежде всего исчезновением у правящего слоя *воли к власти*. Оборотная сторона этого — непонимание действительных нужд и задач государства и утрата пафоса государственности (потому то неуравновешенные публицисты и предаются сему пафосу: здоровый человек своего здоровья не замечает). Колебания правительственной политики, смена направлений и министерств не причины, а грозные симптомы начавшегося процесса. И наивно задним числом нагромождать друг на друга бесконечные «если бы»! Во время французской революции вздыхали о великом короле или, за ненахождением его, о великом министре. — Как раз ни тот ни другой появиться не могли. Не менее трудно было найти соответствующего кандидата и в России перед революцией. Казавшиеся таланти скоро свою полную непригодность обнаружили. Требовавшее ответственного министерства общество могло предложить только будущее временное правительство. И трудно сказать, кто был более неправ: упорствовавшая власть или наступавшее на нее общество. Безволие и умственная косность правящего слоя являются как бы органическими свойствами всех к нему принадлежащих. Ибо именно он вырождается, а не царствующая династия только и не министры или начальники департаментов, как известно, назначенные не на племя.

«Краса русской революции» низвергала правительство; «краса русской интеллигенции» пришла ему на смену, но воли к власти не обнаружила.

Восклицание Мирабо и «решимость» депутатов третьего сословия (уложивших уже, впрочем, на всякий случай свои вещи) не обнаружили комического бессилия Конституанты только потому, что не нашлось.... матроса Железняка. Очень скоро те же депутаты ничего не могли поделать с наводнившими Версаль пьяными бабами. Мудрость же первой революционной власти достаточно иллюстрируется нужною лишь любителям ораторского искусства «декларациею прав человека и гражданина», которую, конечно, во всех отношениях превзошла «декларация прав солдата». Всем известно, что «феодальные права» были отменены не Конституантою, а бунтом, результаты которого собрания всячески старались урезать , и что мир с немцами был заключен не «временным правительством».

У правящего слоя в в эпоху революции так же нет чутья государственности, как и у власти. Именно потому он находится к власти в состоянии радикальной оппозиции и не сознает этой оппозиции , как симптома погибели, и не видит в своем распаде на партии, группы, котерии своего собственного разложения Становясь у власти, он обнаруживает то же безволие (абулию), что и сама павшая власть. Он не в состоянии властвовать и может свидетельствовать о своем существовании лишь самым простым и недействительным способом — упражнением в красноречии. И остатки правящего слоя, известные под именем эмиграции, своими взаимными распрями, «пафосом» *отвлеченной* государственности и «красноречием» показывают, что они ничему научиться не могут, ибо те, которые способны научиться и переродиться, остались в России или являются в эмиграции элементами для нее не характерными и случайными.

Здоровая государственная власть сознает абсолютное значение государственности и народно-государственных задач , сознает органически, инстинктивно. Она может смешивать абсолютность принципа с незакономерно абсолютируемою формою и ошибочно представлять себе свои задачи. Но она верит в себя и верит в государство. Этой веры нет у власти умирающей и у умирающего правящего слоя. Нас не должны обманывать «официальные» заверения. Верили ли подлинно в помазанничество государя составители его манифестов? Он сам в последние месяцы своей жизни явил высокий образец религиозно-нравственного характера и жертвенного патриотизма. Но если помазанник Божий ставит эмпирическое благо народа выше своего долга перед помазавшим его Богом, он не понимает своего царского долга. Царь, отрекающийся от царства за себя и за своего сына, отрицает таинство помазания. И те же самые соображения справедливы помимо религиозного толкования власти. — Правительство, которое заявляет, что готово уйти по первому требованию народа , не понимает ни того, что такое народ, ни того, что такое народная власть. Благо народа может совсем не совпадать с тем, что «человек из народа» под своим благом разумеет. Оно выразимо и осуществимо только чрез правящий слой и правительство и отнюдь не совпадает с благополучием житейским. И что это за «народ», по воле

котораго временное правительство соглашалось «уйти»? Чем определялась народная воля? «совдепами», газетами, мятежной толпой? или всеобщим, прямым , равным и тайным голосованием, которое как раз не прямое, а в революционные времена во всяком случае не тайное и не всеобщее? Я думаю, что готовность временного правительства уйти не риторика , а факт. Но этим оно обличало свою негодность , и именно поэтому народ дал ему пасть, предпочтя другое, по природе своей несомненно более государственное. Я помню время, когда Юденич стоял у предместий Петербурга. — Большевики не сдавались. Они готовы были вести бой на улицах. Скажут : им нечего было терять. — Может быть, но, как бы то ни было, они обнаружили волю к власти и понимание того, что такое власть именем народа. Не даром русские рабочие и русские крестьяне считают, что власть перешла к ним, и не придают значение хлесткой формуле: «не власть пролетариата, а власть над пролетариатом».

Полным непониманием существа власти отличаются и предреволюционные политически-литературные течения. — Религиозный смысл власти отрицается. Природу ее усматривают в насилии и обмане или в господстве одной социальной группы над другими, или, наконец, — в достойной Феокрита идиллии: в свободном и мирном соглашении всех И добро бы предполагалось что-нибудь конкретное! А то радикальная русская интеллигенция, ревнуя лаврам «теоретиков» XVIII в., планировала будущее по Менгеру, если не по кн. Крапоткину.*)

Погибнув в центре, старая государственность пыталась воссоздать себя на окраинах. Так же, как подобные образования в эпоху французской революции, «новые» правительства явили полное свое бессилие. Это было, собственно говоря, не чем иным, как завершением начавшегося в центре процесса — окончательною гибелью старой власти. Не случайно во главе новообразований появлялись старые политики, бюрократы, генералы, интеллигенты. Действовавшие тут же «новые» люди выходили из той же «интеллигенции» и отличались, только меньшим образованием, неизвестностью и несерьезностью своих фамилий (Быч, Рябовол, Петлюра).

Умирание старой государственности совершается и в самой народной стихии. Но здесь — если революция не оказывается болезнью к смерти — не умирает само существо государственности , воля к власти. «Революционный народ» отвергает старые формы прежде всего пассивно — все более ускользая от подчинения (ср. дезертирство в армии и его развитие). Но он а активно разрушает старое бунтами и противопоставляет старому новые си-

*) Традиция планирования русского будущего по тем или иным европейским «теоретикам» идет от XVIII-го века. Эту же традицию выражают многие из декабристов. Декабристы, в целом, представляют сложное и не лишенное своеобразия явление. Но несомненно, что некоторые из них стоят в «генеалогической линии» позднейшей «беспочвенной» и западопоклонннческой интеллигенции.

мочинные власти. Вместе с политическими формами народ потрясает и разрушает свой социально-экономический и религиозно-нравственный уклад, расплавляя все в одном бурном революционном потоке. Народ ищет новую власть, ищет себя самого на пути самых смелых и диких экспериментов и активного сомнения. Он потрясает основы всего, чтобы найти несомненное и уже не колеблющееся и на нем утвердиться. И в этом раскрывается последний, религиозный смысл революции, ибо революция здорового народа всегда в истоках своих религиозна, всегда ищет *правды* и за *правду* принимает ложь, хотя — вынужден заметить во избежание дурацких лжетолкований моей мысли — весь ее взволнованный поток греховен и мерзок.

Революция раскрывает природу народа в ее расплавленном состоянии. А «ближайшая к природе власть», говорил Платон, есть «власть сильного». —Понятно, что в разрушительной борьбе стихий новая государственность может утвердить себя лишь актами элементарного и жесточайшего насилия.

5

Чтобы революция наступила, мало одного разложения правящего слоя. Мертвый труп может долго плавать и колебаться на волнах, точно живой. Необходимо еще, чтобы последний суб'ект государственности, народ был здоровым, ибо именно здоровый организм наиболее бурно реагирует на болезнь. Но если народ в существе своем здоров, он—хотя бы и смутно сознает значение государственности. Поэтому для того, чтобы он отверг свою историческую власть, необходимо, чтобы она не только явно показывала свою негодность, но и еще угрожала самому государственному бытию народа, посягала на святое святых его личного самосознания. В самом разрушении старой государственности народ выступает на защиту государственности. И этим об'ясняется связь всякой революции с войной (в Англии — с тридцатилетней и с отношениями к Ирландии и Шотландии, во Франции — с «grande peur» и европейскими войнами, в России XVI-XVII в. — со шведской, польской и с борьбой за огосударствление окраины). Принято обвинять русский народ в негосударственности за устройство революции во время войны и молчаливо признавать государственность французов за устройство войны во время революции. Глубокомысленно замечают, что Россия не могла сразу разрешить две проблемы и внешнюю и внутреннюю. Все это — абстрактные рассуждения. Уж если говорить о разных «если бы», так надо будет сказать, что, не будь войны, не было бы революции и что во всяком случае революции не случилось бы при благополучном окончании войны, т.е. при «разрешении» внешней задачи. Когда французский министр успокаивал парламент заявлением, что у победителей —«большевизма» (понимай — революции) быть не может, он, пожалуй, был и прав, а если и ошибался, так только в том, что считал французов победителями.

В России вырождение правительства (для очень немногих) стало ясным со времени неудачной японской войны. Тем не менее до революции дело не дошло*). Революция наступила лишь тогда, когда наивно почитаемая народною война с Германией явила полное бессилие власти и поставила на край гибели само государственное бытие России. Но и здесь народ не сразу разуверился в своей государственности. Он долго верил в свое правительство и в «народность» его политики, предполагая, будто вина лежит на отдельных лицах. Так появилась характерная для революции и подтверждающая наше понимание ее (ср. историю Англии и Франции) мысль об измене. — Отчего окопы немцев удобнее и благоустроеннее? — Измена. Отчего не хватает снарядов и приходится отражать аттаки палками? — Измена. Разве не повесили «изменника» Мясоедова? Разве не с изменою борется Дума?

Нет никакой необходимости в том, чтобы измена действительно существовала. Обыкновенно ее даже и не бывает. Николай II отечеству своему не изменял. Подозрение в измене — первое яркое выражение смутного еще сознания того, что власть никуда не годится. Оно обусловлено трогательною привязанностью к старым формам политического бытия, к династии и государю и бессознательным страхом перед неизбежностью революции. *Измена — эвфемизм революции, быстро превращающийся в ее манию.* Ибо потребность в этом эвфемизме не исчезает и с появлением новой, революционной власти. Ее положение несравнимо труднее, чем положение старой власти. У нее нет исторической санкции, и она еще должна доказать свою способность управлять, перейдя от посулов и обещаний к делу. Как власть наиболее близкая к своему началу и природе, она должна быть властью силы, чтобы народ почувствовал ее твердую и жестокую руку. Она должна либо быстрыми, но едва ли возможными в период уже начавшегося развала успехами оправдаться от переносимых на нее подозрений, либо эти подозрения насильственно подавить. Ведь очень скоро обнаруживается, что она — порождение того же правящего слоя. И понятие измены расширяется. — В том ли беда старой власти, что народная воля выполнялась плохими людьми? Не в том ли, что они выполняли не народную, а *свою* волю? Но не повторяется ли то же самое снова? Никто не знает точно, что такое народная воля и каково ее содержание; но старые определения ее кажутся подозрительными. И уже невозможно определить подлинную власть по ее идеалам, программам и словам. Даже обещание ограбить богатых, например — налогом в 90 %, к доверию не располагает, скорее наоборот. Подлинную власть можно определить только по ее природе — по несокрушимой воле к власти.

---

*) Одним из типичных проявлений русского европеизма и самоплевания является распространенное различение революций на „хорошие" и „худые". К числу хороших революций относят бунты и конституционные реформы 1905 г. Последовательно было бы в этот же разряд отнести и период временного правительства.

Если те же самые , пока ничем , кроме красноречия себя не показавшие люди говорят о необходимости Дарданелл или верности союзникам, потерявшим производившую для офицерства шампанское вино провинцию (речь Брусилова солдатам), — так еще вопрос, способны ли они осуществить свои намерения? Да и соответствуют ли эти намерения нуждам государства и народа? Не обман ли это, не измена ли, которую можно назвать также «интересами буржуазии»? Они говорят об интересах России. Но способны ли и желают ли они эти интересы понимать? Солдату-мужику ясно, что министр, прежде бывший адвокатом по дѣлам о политических преступниках, говорит о какой-то отвлеченной России и что настоящая ему, адвокату, может быть и неизвестна. И мужик опровергает интеллигента великолепным сарказмом: «Мы тамбовские». Адвокат все-таки пытается доказать ему важность отечества в порядке целесообразности, т. е. в порядке отрицания за государством абсолютного значения. Надо , заливается адвокат, умирать за землю, чтобы потом справедливо поделить ее между трудящимися. — Новый сарказм: «А на что мне земля, если меня убьют?» Надо сознаться, что у русскаго мужика было больше государственного смысла, чем у правительства, преступно отбиравшего на убой лучшие элементы армии. И мог ли солдат поверить тому, что это бессильное правительство , которое на словах готово отказаться от власти, а на деле за нее держится, уступая всякому , кто на него прикрикнет, исполнит свое обещание и справедливо поделит землю? До той поры, пока здесь воюешь, оставшиеся в тылу давнут хорошенько на правителей и поделят всю землю между собою.

6

Таким образом первая фаза революции с необходимостью переходит во *вторую* — в *период так называемой анархии*. «Так называемая» анархия... Исчезают саморазлагаясь историческая власть и правящий слой, поскольку он в самой «анархии» не перерождается в новый или не сливается с ним. Гибнут старые формы государственности и старое политическое миросозерцание, являя свое несоответствие народной стихии. Все становится сомнительным, и везде инстинктивная жизнь вытесняет сознательную. Но за всем этим протекает бурный и творческий процесс — *активное стремление государственной стихии себя осуществить, искание нового правящего слоя и новой власти , болезненное и медлительное их нарождение.*

Вместе с исчезновением государственного единства раскрывается эгоизм слагающих государственное тело единств. «Федерализм» действительно враг будущей государственности, к которой стремится революционный народ. Но в политических новообразованиях, т. е. в завершающемся на окраинах разложении старой государственности, живет идея государства. Если она не может осуществиться , так потому, что старое еще не отделилось

от нового и нет осуществителей, как *нового* правящего слоя, который бы уловил новое. В этих «новообразованиях» живет идея целого Их эгоизм , выражающийся в самостийности , следует отнести, с одной стороны, на долю никуда не годных руководителей, «могиканов» умирающей государственности, с другой — на долю здорового инстинкта масс, чувствующих, что большое целое может быть только органическим целым и предполагает некоторую самостоятельность своих органов. И если «федерализм» в специфическом смысле (Вандея, Донское правительство, Украина, Кубанская рада и т. д) враг революции и государственного единства, федеративный строй, как выражение органичности целого, может оказаться для большого государства наилучшим решением проблемы. Этого не поняли делившие Францию на департаменты ученики Ришелье Большевики-интернационалисты оказались восприимчивее к идеее организма , чем националисты.

Не случайно с началом французской революции связаны падение национальной обособленности провинций и закончившиеся дешевым фейерверком празднества федерации братания. Но и у нас в России не следует умалять значения, какое имела идея «единой и неделимой» в первый период революции и в эпоху борьбы белых армий с большевиками. Легкомысленно пущенная в оборот ложь, будто я где-то «плевал » в «белое знамя», не мешает мне положительно оценить патриотическое одушевление, которое, думаю, одинаково(?) руководило обоими участниками белого движения: и не умеющим понимать напечатанное молодым автором и не сознающим ответственности своей роли брадатымъ редактором. Одушевлявшая многих в белой армии идея единства России оказалась недейственною не потому, что она была ложною, а потому, что она была абстрактною и не обладала соответствующею формою своего осуществления, ибо старые формы тогда уже умерли, а новых еще не народилось Эта идея конкретизировалась лишь в патриотических настроениях и героических подвигах, к сожалению, не согласованных и не оправданных теоретически. Теоретическую сторону взял на себя «мозг» белого движения, оказавшийся на поверку совсем не мозгом, а остатками старой интеллигенции и бюрократии и «Осваго».

Еще в более скрытом состоянии живет государственная идея в эгоизме социальных групп. Несомненно, что писаки, сводившие в начале французской революции ее задачу к проблеме «третьего сословия», подразумевали под ним французский нароч, хотя сами себе в том отчета и не отдавали. Во всяком случае, так понимала слова Сийеса — степень отчетливости понимания и здесь является вопросом второстепенным — сама «буржуазия». Равным образом и в так называемой пролетарской идеологии, поскольку, по крайней мере, с нею связываются действительные стремления рабочих, больше патриотизма, чем в программе компартии. Но, разумеется, очень большое несчастье, что довольно узколобые («долихокефалы») и малообразованные идеологи социализма, сами будучи продуктами и отбросами старой разлагавшейся государственности, всячески отрицали и вытравляли идеи патриотизма и

государственного единства. Еще большее несчастье, что темная рабочая масса под влиянием сомнения и отчаяния во всем старом легко и жадно усваивала «социализм» из пятикопеечной и заборной литературы , а сама была слишком непонятлива и косноязычна. Но все это не исключает государственности и патриотизма даже в социалистах, даже в большевиках. Говорят, что Троцкий болезненно переживал национальное унижение Брестского мира. И хотя я не особенно высокого мнения об этом «свистуне» и не стану сопоставлять его патриотизма с патриотизмом ген Врангеля, вероятность рассказа я допускаю с охотою. Учение об идеях , как об идеологической надстройке, просто глупо. Но, с другой стороны, не очень разумно и принимать всякую фразу за выражение идеи Заключая мир с немцами, большевики думали, будто они руководятся *только* интересами мирового пролетариата, фактически же осуществляли практическое задание русской государственности и руководились именно им Они думали, будто, производя реквизиции , борясь со свободою торговли и т.п., они вводят социализм, и даже уверили в этом некоторых «экономистов» из агрономов, доныне еще изучающих русскую революцию, как неудавшийся марксистский эксперимент. На самом деле большевики выполняли необходимые в тот момент для самого существования Государства Российского задачи, которые по своей примитивности совпадали с социалистическими идеалами. Такое толкование аналогично воззрениям исторического материализма на роль личности, с тою однако существенною разницею что не рабочий класс, а само Российское Государство расставляло личности-пешки, и что дело идет не о личностях вообще, а о доктринерах.

Если в сословном , классовом, групповом эгоизме скрывается и даже до известной степени управляет им идея общегосударственная, то еще сильнее сказывается в нем сама стихия государственности, обнаруживаясь в стремлении к самоорганизации, в борьбе за власть и т. д. Она выливается здесь в самые элементарные формы, но зато легко превозмогает сословную или классовую ограниченность. Она проявляется под чужими и неподходящими именами. Стремление к государственному единству предстает как мечта о социалистическом, пролетарском, рабоче-крестьянском государстве. Необозримы разнообразие и число всех этих вновь возникающих групп, из которых всякая притязает стать кристаллизационным центром новой государственности и большинство из которых быстро погибают во взаимной борьбе. Для революционной «анархии» характерно не то, что не признается власть, а то, что *всякий признает себя властью и считает себя ее носителем*. Государственность распыляется , индивидуализируется. Каждый осознает ее в себе , как активное начало власти. Революционная анархия — как бы доведенный до своего предела, но утративший начало иерархии феодальный строй, не анархія, а *панархия*. И сколь бы эгоистичен индивидуум ни был, в его притязании на самоутверждение и власть живет стихия госу-

дарственности. Не даром умный грек называл человека «животным политическим».

Всем этим не отрицается, что в революционной анархии всплывают всякие эгоизмы Так и должно быть в момент гибели старых форм государственности и порождения новых Эгоистические стремления и есть проявления умирающей старины, которая изживает себя в гибели своей государственности. С другой стороны, этот эгоизм является как бы методом искания государственной стихии в среде, повидимому ее потерявшей. Это — действенное «gnothi seauton» народа, его страшный эксперимент над самим собой. Существо революции в том, что все соки старой государственности собираются в один гнойный нарыв, обособляющийся от здоровых тканей (pie-mia saccata) — в старый правящий слой, а здоровые ткани остаются без государственных соков. Нарыв лопается и заливает все гноем, а здоровые ткани должны нейтрализовать этот гной и выдавить из себя новый сок, что не может обойтись без повышения температуры и острых страданий. Хорошим средством представляется дренаж раны — отвод гноя во вне в виде эмиграции. Плирома народной жизни осталась вне старой государственности и вынуждена, если не хочет погибнуть , в самый краткий срок заменить старые, создававшиеся десятилетиями старые формы новыми.. В насильнике сочетаются сама стихия государственности, как активное властвование, и его эгоистическое самоутверждение, законные грани которого определяются лишь путем борьбы всех против всех. Но и насильнику импонирует реальная, жестокая сила. В признании ее стихия государственности раскрывает другой свой аспект — аспект подчинения.

7

Итак воля народа к новой государственности обнаруживается прежде всего, как появление на поверхности народной жизни слоя насильников, честолюбцев и фанатиков. Это и можно обозначить, как *третью фазу революции*. Государственность, утратив историческую и религиозную санкцию, проявляется в виде грубой, но потому именно импонирующей силы, снова разделяя народ на «управляющих» и «управляемых». Это разделение становится даже более резким, чем прежде, так как реальное и непосредственное властвование усиливается за счет опосредствованного и формально не определимого властвования интеллигенции. Ту среду, которая является преимущественным питомником новых носителей власти, составляют старые активные врагн дореволюционной власти — революционеры типа злостных завистников, экспроприаторов и авантюристов, революционеры-фанатики и, в значительной мере, деклассированные и уголовные элементы, говоря вообще — наименее морально-ценные люди, носители грубой стихии насилия, по московской терминологии XVI-XVII в. — «воры».

У революционного правящего слоя, почти совпадающего с новым правительством, нет ни государственного опыта, ни новых государственных идей, ибо идеи интеллигентов-революционеров — старые, еще до-революционные идеи, отвлеченные, бесплодные и уже, казалось бы, доказавшие свою нежизненность. Между тем для нового государства мало еще одной воли, хотя бы и самой непреклонной. — Всякий политический акт нуждается, если и не в осмыслении, то, по крайней мере , в примитивном идеологическом обосновании. Та, либо иная идеология необходима, как внешняя форма государственного сознания и утешительное средство для оправдания конкретных политических актов. Особенно же необходима идеология в эпоху революции, когда все разрушено сомнением и остро желание хоть за что-нибудь ухватиться. Конечно, идеологии в разной степени , хотя всегда очень несовершенно, отражают народное миросозерцание, перед революцией и во время ее они чаще всего это миросозерцание искажают. Кроме того они больше отражают прошлое , только проецируя его в будущее, да еще упрощая и прикрашивая. Настоящему нужны конкретные задачи и решения, которые часто с одинаковым успехом ставятся и решаются противоположными идеологиями Как определение же будущих задач, идеология возможна лишь в самом общем и не обязывающем виде. Здесь всякая конкретизация ее, всякое превращение ее в обязательный принцип поведения опасны, свидетельствуя либо о старческом маразме либо о младенческом недомыслии.

Здоровая государственность живет не схематическою, до деталей разработанною идеологией и не вытекающими из нее «реформами» и «планами», а злобою дня сего, хотя злоба эта всегда идеологически осмысляется. Вреден для себя и для других всякий идеолог—будь он «философом» XVIII в., толстовцем или социалистом — если он превращает свою жизнь в планомерное осуществление своей идеологии, т. е если он становится доктринером, если идеология из обоснования его конкретной деятельности превращается в жесткую программу. То же самое справедливо и для власти. Зло якобинцев и коммунистов не столько в ложности и ограниченности их идеологии, сколько в их доктринерстве и *потому* в неспособности к развитию. И всякая идеология , которой отведена будет такая же роль, как в России коммунизму, будет губительна и смешна Повторяю, без идеологии не может быть власти, особенно власти революционной. Но, признавая необходимость идеологии, надо сознавать ее относительность, т. е. поскромнее оценивать свои умственные способности и таланты. Худо или хорошо, но идеология пытается выразить абсолютные основания культуры, народа, государства, старается наметить культурно-национальные идеалы и миссию. Эти цели, к которым устремлена всякая идеология, *должны* быть у всякого государства. Назовем их хотя бы словом «*идейность*». Однако во всякой идеологии идейность находит себе лишь несовершенное, ограниченное и ограниченностью своею опасное выражение; совсем же вне идеологии идейность не уловима. Поэтому, во первых, нельзя смешивать идейности с идео-

логией, а во вторых — не должно абсолютировать вторую, что является абсолютизацией ее ограниченности, но должно сознавать абсолютность несовершенно конкретизируемых ею идей. К сожалению, именно этого никак не могут понять ни революционеры, вроде якобинцев или коммунистов, ни контр-революционеры, вроде наших реставраторов в эмиграции

В эпоху революции нет еще никакой новой идеологии — только «старорежимные». Это прежде всего идеология прежней власти, за которую хватаются все испугавшиеся революции и обреченные на гибель в борьбе или в эмиграции. Эта идеология надолго скомпрометирована и бессильна. За нею выдвигаются оппозиционные идеологии прежнего правящего слоя. По существу они однородны с первою и так же, как она и выдвигавший их правящий слой, обречены на умирание. Из них лишь нечто сможет впоследствии ожить, но нечто оживет и из старой правительственной идеологии, ибо всякая идеология отражает идейность. Во всяком случае, однако, оппозиционные идеологии именно в силу своей оппозиционности и сравнительной простоты (ведь сочиняли их люди , мало знакомые с государственной машиной) пользуются некоторым кредитом, и тем большим и более длительным, чем они радикальнее и проще. Особняком надо поставить одну из них — самую элементарную и радикальную. Как раз она наиболее соответствует элементарному сознанию бушующих масс и не многим более сложному сознанию правящего слоя. По своей радикальности она способна удовлетворить и революционера-разбойника и даже уголовного преступника, который «отрекся от старого мира», но сохранил свою преступность. Наконец, она может быть идеологией фанатиков и хотя и мнимо, но по видимости абсолютно оправдать обуревающий их пафос борьбы и разрушения, который они считают пафосом творчества. Она естественнее, скорее и легче связывается с необходимыми примитивными оказательствами государственной силы. В своей убогой простоте она не видит всей сложности социально-политической жизни, которая к тому же упрощена в революционном процессе, и не располагает к нерешительности и колебаниям.

Natura non facit saltum —Процесс нахождения революционной власти протекает хотя и бурно, но последовательно. — На смену павшему правительству поднимаются прежде всего оппозиционные слои прежней правящей среды, притом даже сменяя друг друга в порядке возрастающего радикализма. Безвольные и бессильные, новые временные правители за неспособностью управлять начинают излагать свою идеологию. Они иногда искренно верят, что произносимые ими речи, провозглашаемые ими прокламации и резолюции, сочиняемые ими законы имеют какое-то значение. Они верят в силу слова, своего жиденького слова, а патриотический подвиг свой измеряют количеством часов, отнятых у сна, или числом пустых бутылочек от потребляемого возбуждающего средства. Они убеждены, что управляют, а на самом деле послушно идут за влекущею их стихиею, которая в конце концов их уничтожает. Она же выносит на смену им уже охарактеризованную

нами революционную власть, фанатиков, насильников и злодеев. Это власть дела, приносящая с собою свою примитивную идеологию, которая, устраняя все другие, устраняет до поры до времени и все идеологические споры, ибо сама она столь элементарна, что не может вызвать не только споров, а и мысли. Впоследствии такая идеология все более и более будет обнаруживать свою вредоносность, своею абстрактностью и косностью мешая жизни. Революционная власть будет совершать разумные и полезные акты лишь тогда, когда необходимые, конкретные меры случайно совпадут с идеологическими предпосылками, что вместе с усложнением жизни будет встречаться все реже, или когда практика власти разойдется с ее идеологией, что будет быстро учащаться. Но на первое время идеология новой власти достаточно удобна, особенно же потому, что основным ядром нового правительства являются фанатики — «святые», якобинцы, коммунисты. В фанатизме вождей вновь приоткрывается религиозная природа революции; и фанатизм вождей сплачивает революционный правящий слой, из которого выходят Кромвели, Дантоны и Ленины.

§

Силою естественного внутреннего развития революционная «анархия» приводит к созданию революционного правящего слоя *), носителя и выразителя государственной стихии в ее примитивнейших обнаружениях, идеологически же — ничтожнейшего эпигона худшей из старых интеллигентских идеологий. Но для того, чтобы революционная власть могла утвердиться, нужны не только сознание народом ее необходимости и некоторая идеология, одушевляющая ее и в известной мере близкая массам. Нужна еще простая и жесткая организация или «*партия*», появление которой и свидетельствует о жизнеспособности нового правящего слоя. Эта организация не может быть собственно-государственною. Ведь государственные органы, старые, которые уцелели и только переименованы, а то остались и без переименования, или новые по типу старых, сами по себе не обладают ни санкциею ни силою. Они должны еще врасти в жизнь и себя оправдать. Они бессильны пред лицом народной стихии, от имени которой хотят говорить, пред мятежной толпой и даже самочинными организациями. Править только с ними и чрез них значит идти за бушующей толпой, пытаясь увлечь ее личным обаянием или ловко обмануть. Ни то ни другое длительно невозможно (Дантон). Поэтому существенно необходимою представляется самоор-

*) Революционный правящий слой мы отличаем от нового правящего слоя, как временный и переходный в том смысле, что идеология и идеологически неисправимая часть его к концу революции исчезают, и в том, что являющаяся основою будущего нового слоя часть его находится в периоде образования и становления.

ганизация правящего слоя, которая бы давала ему возможность проводить и, если нужно, навязывать свою волю.

Такая организация осуществима в виде военной диктатуры и партийной армии (Кромвель). Она осуществима и в виде стройной военно-подобной партии. В такие партии организовались якобинцы и коммунисты; и подобная же партия, вероятно, потребуется после преодоления коммунизма. При этом не важно, существуют ли зачатки такой партии еще до революции в виде какой нибудь подпольной и даже эмигрантской организации или она возникает в процессе революционной анархии. Важно, что она в тот или иной момент становится организацией правящего слоя и костяком новой государственности. Она сосуществует с фактически ей подчиненными общегосударственными учреждениями, непрерывно меняющими свой облик и врастающими в жизнь. Эти учреждения бессильны, если они не опираются на партию; но для партии они — необходимое орудие управления, тот государственный аппарат, без которого она не может властвовать и которого не может создать из себя В государственном аппарате находит себе место старая административная техника; и в нем же по преимуществу происходит перерождение элементов старой государственности. Существование общегосударственных органов подчеркивает связь нового правящего слоя с народом и внешне выражает народность революции.

Дуализм тиранической партии и государственного аппарата представляется необходимым во всякой «удачной» революции. Напротив, нет необходимости, чтобы аппарат этот существовал в виде представительных учреждений, что, впрочем, естественно там, где они уже существовали, и наиболее соответствует общенародности революции и несколько наивному отожествлению общенародного акта с актом всеобщего голосования. Практически самым целесообразным является возможное сохранение традиционных форм и преобразование их лишь в меру настоятельных конкретных потребностей (ср. Англию); хуже — абстрактные выдумки и хуже всего, если эти выдумки сочетаются с подражательным воспроизведением чужого, неизбежно мешающим конкретно-органическому. В этом отношении надо предпочесть русский революционный процесс французскому и благодарить судьбу за умственную убогость и невежество большевиков, которые свели их новаторский пыл на любовь к иностранным и заученным словам и на изобретение сравнительно безвредных по своей абстрактной теоретичности схем: в абстрактные схемы могло проникнуть конкретно-жизненное содержание. Да и сама наивная вера в способность «пролетариата» к творчеству совершенно нового заставляет не воспроизводить «буржуазное», а искать. Так были нащупаны реально-важные проблемы: конечно, *идеи* «федеративности» и «советской системы» скрывают в себе богатые возможности будущего национального развития, тогда как «учредительное собрание» и «парламент», хотя бы и под слащаво-славянофильским именем «Думы», могут ему лишь мешать. Особенно опасным в период окончательного падения коммунизма

может оказаться «учредительное собрание», ибо — найдется ли второй Железняк?

Как бы то ни было, в государственном аппарате идеология и воля правящей партии конкретизируются и потому очень часто с великою пользою для государства и народа превращаются в нечто совершенно противоположное исходному замыслу или импульсу. С другой стороны, чрез него же главным образом конкретные нужды жизни заставляют партию на них отвечать и к ним приспособляться, властно перерождая ее идеологию и часто превращая ее в несоответствующую содержанию вывеску. Наконец, в государственном аппарате, который по персональному своему составу частично совпадает с партией, происходит амальгама нового со старым. Живя и действуя по мудрому примеру «болота» во французском конвенте, старые люди невольно ассимилируются с новыми, как и обратно. И те и другие перерождаются в правящий слой ближайшего будущего, который рано или поздно заменит собою революционный правящий слой и сделается основанием новой, после-революционной государственности.

То же самое нарождение нового совершается и во всей народной массе, понемногу застывающей и приобретающей некоторые очертания. Но настоящие люди будущего не те, которые «благородно» бегут заграницу или выбрасываются туда силою вещей, а те, которые пядь за пядью отдают старое, приспособляются и подчиняются силе, все время меняясь внутренно и через год-два уже не узнавая в себе прежних «борцов» за погибшее. Сентиментально-риторическая Европа сооружает бездарные памятники и зажигает газовые лампадки (и экономно, и неугасимо, и — последнее слово техники) на мнимых могилах «неизвестного солдата». Может быть, потомство вспомнит о «неизвестном обывателе». Он не рисковал жизнью в контрреволюционных вспышках, хотя, когда приходилось, умел умирать за контрреволюционную риторику других, находившихся в безопасности, и умирать мученически и со скромным героизмом: так, как умер император Николай II. Этот обыватель испил до дна чашу унижений, видел крушение всех своих надежд, гибель близких и... не озлобился. Он приспособился ко всему и все же сохранил нить, связывающую его с больною народной душой, и как то принял ее искания. Зато он войдет в новую жизнь, создаваемую его смиренным терпением, его трудом, слезами и кровью. Его героизма не замечают, потому что офранцузившиеся русские люди считают героями только «рыцарей без страха и упрека». Его оплевывают за малодушие и подлость перед людьми. Но есть еще подлость и малодушие перед своим народом и Богом. Их у него не было Он остался верным Правде, и потому он мог ее распознать за тою грязью, которою она была покрыта. Лицемерные же обличители, лицемерные потому, что теперь уже не угрожают ему своим Шемякиным судом, а уверяют (конечно, с высоты своего нравственного величия) будто понимают его положение, эти обличители Правды видеть не хотят.

Исключительного значения процесс начинается и в самой партии, лишь только она укрепит и обеспечит свою власть. — Под влиянием государственного аппарата и непосредственных воздействий жизни партия вынуждена конкретизировать свою идеологию. И хотя она понимает эту задачу извращенно, хотя ее «теоретики» мечутся , как угорелые, в хаосе все новых и новых дистинкций, понятий, терминов, — партийная идеология неудержимо вырождается в бессодержательную фразеологию, ибо для всякого доктринерства конкретность равнозначна гибели. Сталкиваясь с жизнью, интеллигентская идеология оказывается бессильною ответить на простейшие вопросы их-то она как раз и не предусмотрела, о них то и не подумала. Если же эти доктринеры пытаются что-нибудь свое осуществить, — получается либо противоположное , либо глупость, либо пустая вывеска.

Историк не должен уподобляться быку на известных испанских развлечениях и яростно бросаться на красную тряпку. Красной тряпкой покрываются весьма различные предметы. — В политике революционной власти надо различать — выполнение ею конкретных и жизненных государственных задач, фразеологию и — только на третьем и последнем месте — партийно идеологическую политику. Ее губительности не следует ни преуменьшать ни преувеличивать. И в начале партийного господства идеологическая окраска (вывеска) актов власти ярче и крикливее, но сами акты отличаются большею жизненностью: дело сводится к простому переводу государственно-необходимого на язык якобинцев или коммунистов. Напротив, вместе с усложнением жизни лексический материал этих примитивных наречий все более обнаруживает свою скудость и все чаще появляются менее яркие , но зато и более вредоносные попытки осуществить меры, диктуемые только идеологией. Так все реквизиции , борьба со свободною торговлею , «советизация» и т. д. в первый период большевицкой революции диктовались *государственной* необходимостью, хотя и понимались и об'яснялись как введение коммунизма. Это, конечно, касается только организационного ядра мероприятий. Проводились же они совершенно нелепо, так что в процессе их осуществления большое количество благ просто пропадало. Дешево революция никогда не обходится. Даже «Коминтерн» не без успеха выполнял функции русского министерства иностранных дел, которое в прежнем виде при временном бессилии России было бы абсолютно недейственным. Зато борьба с «Нэпом» и, в значительной мере, «плановое хозяйство» являются чистыми и потому вредными продуктами абстрактной идеологии. Но это уже признак ее разложения, за которым стоит и разложение самой партии. Рецидив коммунистического пафоса такой же симптом близкого конца, как «эбертизм» и последний террор Робеспьера. Фанатики уже нуждаются в действенном оправдании своей идеологии. Они, значит, уже усумнились в ней, но, как люди малообразованные и малоразвитые, нуждаются в эксперименте. Оттого то симптомом близкого конца и является борьба на «идеологическом фронте». Социально - хозяйственная сторона жизни аргумен-

тирует быстрым, убедительным и для доктринера образом — нищетой и голодом. Здесь есть не одолимые ни для какой идеологии границы экспериментирования. Последствия идеологического коверкания техники и медицины улавливаются уже не столь легко и скоро. Для того же, чтобы оценить значение чистых наук, особенно же наук гуманитарных, не только для философов-коммунистов, а и для многих старо-режимных инженеров и физиологов требуется лет 10-15. Философ и замнарком Покровский додумался пока только до важности хронологии. Таким образом именно в борьбе с «буржуазными» религией и наукой, в походе на церковь и предрассудки «буржуазной нравственности» могут перед концом своим всласть позабавиться идеологи.

Надо понять весь внутренний трагизм постепенно проникающейся государственными идеями и навыками партии. — «Славные вожди» связаны своею собственной безответственной болтовней. Они бы и рады многое взять обратно , а тут еще «Госиздат» печатает полные собрания их сочинений. Да и как от всего отказаться? Чем жить несчастному доктринеру, если только идеология маячит еще в зияющей пустоте его душонки? С другой стороны, от всего отказываться неудобно и опасно потому, что снизу прут молодые товарищи За этими товарищами нет уж никакого государственного опыта, и они еще менее развиты и образованы, чем «вожди» Зато они уверовали в пламенные слова «вождей», когда те еще были одушевлены «истинами» коммунизма, и теперь кричат о компромиссах и измене.

Партия не остается неизменною. В нее быстро вливаются новые элементы Из новоприходцев одни искренно разделяют ее идеологию, но раньше недостаточно верили в ее осуществимость или боялись; другие — чуят за совершающимся какую то правду или надеются что-то изменить; третьи—просто стремятся себя уберечь или преуспеть. Как ни сильны партийная дисциплина и тиранния кондовых коммунистов, увеличение партии опаснее для нее, чем увеличение числа братьев для монастыря или ордена. Весь этот человеческий материал переработать невозможно , да еще переработать в духе идеологии, которая отражает не новое, а старое и уже осужденное жизнью. С затиханием революции и укреплением партии слабеет и гаснет пафос борьбы и опасности, скрепляющий дисциплину. Идеология, как мы знаем, становится фразеологией, а на фразах далеко не уедешь.

В партии тоже свое болото, незаметное сначала, как тина на дне глубокого колодца. Это болото — «существует» в ожидании своего часа. А час его пробьет, когда измотаются и начнут разлагаться партийные верхи. Растущее бессилие верхов, грызня, а иногда и взаимоуничтожение «вождей» заставляют их искать себе точку опоры на зыбкой почве двух сливающихся болот. Это открывает возможность для активного выступления «болотных людей» , которые по самой природе своей прячутся за спины борющихся,

стараются идти наверняка и не рисковать. Поэтому и победа болота еще не ведет к немедленной отмене фразеологии.

9

Уже давно, и не без некоторого основания поговаривают и пописывают *о большевицком термидоре*. Но так же, как на мирного обывателя наибольшее впечатление производят не стратегические передвижения, а выстрелы из пушки, так же и любители истории считают началом новой эры термидорианский «денек», аналогий которому в русской действительности, к сожалению, не видать. Но 9 термидора является лишь ярким эпизодом, к тому же совсем не существенным в процессе перерождения якобинской власти. — К этому времени террор сделал все, что мог: обосновал революционную власть и вполне использовал партию. Ни внешнею ни внутреннею мотивированностью он уже не обладал. Террор сыграл свою роль и не было никакой нужды в новых жертвах. Робеспьер так же спокойно мог пойти на ослабление террора , как под давлением общественного мнения пошли на это победители термидора. В конце концов не столь уже существенно, как закончится террор: путем кровавого переворота или путем постепенного смягчения. Мне кажется, что товарищ Джугашвили был прав, восставая против физического взаимоуничтожения. Трудно, конечно, сказать, не ослабляет ли обеспеченность коммунистической жизни партийную дисциплину и не обнадеживает ли болота на большую активность. Но вероятно и здесь, как везде. чем меньше крови, тем скорее и безболезненнее наступает кризис.

Робеспьер защищал террор, как орудие известной идеологии, которую он пытался навязать пользуясь политической необходимостью террора. С нею приходилось временно мириться, даже тем, кто ее не разделял, потому, что приходится мириться с некоторыми неприятными свойствами незаменимого палача. И если его «политика» представляет собой апогей революционного доктринерства, далеко оставляющий позади не только эбертистов, а и наших коммунистов , его казнь является ярким заключительным актом, «coup de théatre», не обладающим, впрочем, имманентною необходимостью в революционном процессе, хотя, может быть, и типичным для нации Корнеля.

Господство Робеспьера столь же завершает одну фазу революции, сколь начинает другую, и в этом отношении 9 термидор вовсе не кажется датою. Насильственно осуществляя свою старо-режимную идеологию, Робеспьер ведет политику *личного* своего интереса и самолюбия. Он *начинает* ряд «термидорианцев», достигающий вершины в беспринципной и циничной фигуре Барра. То, что Робеспьер считает свой личный интерес интересом государственным и религиозным , дела нисколько не меняет. Таких же «слу-

жителей идеи» мы находим и сейчас среди изживающих интеллигентские идеологии революционеров слева и справа, ибо многие правые по доктринерской своей природе те же «большевики» с вывороченной только на изнанку идеологией. Недавно мы читали кощунства о «православном мече» и даже о том, что Христос рекомендовал квалифицированную смертную казнь. Автор должен считать себя снисходительнее Христа, так как, предполагаем, ограничится пулей или веревкой в воздаяние за «тот состав настроений и деяний, за который евангельское милосердие определило , как наименьшее, утопление с жерновом на шее». Узнаем маленьких Робеспьерчиков, росту и карьере которых мешает только маленькое же обстоятельство: «бодливой корове Бог рог не дает».

«Подобно Хроносу революция пожирает своих детей». — Красноречивый Верньо улавливал весьма существенную сторону революционного процесса, но он воспринимал ее слишком внешне — со стороны личной судьбы, индивидуальной жизни и смерти. На самом деле физическое уничтожение революцией своих вождей лишь одно из возможных проявлений их политической гибели. Важно не то, что Эбер, Робеспьер, Сен-Жюст складывают голову на гильотине, а то, что они оказываются ненужными, — сыгравшими свою маленькую роль, но все еще претензиозными актерами, живыми мертвецами, назойливыми и вредными прожектерами. И даже не в отдельных людях дело, а в общем процессе, людьми осуществляемом.

Возникновение тиранической партии и воссоздание государственного аппарата являются единственно возможным переходом от революционной «анархии» к новой государственности. Захватывающая власть партия неизбежно связывает собирающуюся в ней волю к власти с идеологиею дореволюционных революционеров. Содержание этой идеологии до *некоторой степени отражает народную стихию*, преимущественно — с ее революционно-отрицательной и разрушительной стороны. — Отрицание всего старого (за исключением одной из старых идеологий), «пораженческие» настроения эмиграции , которые не раз выливались в желания всяких неудач возглавляемому пока большевиками *Русскому* Государству (война с Польшей, восстание в Грузии, большевицкая политика в Китае, вопрос о «признании» и мн . др.), оспаривание (вовсе не об'ективное) всяких признаков экономического и политического под'ема, все это — типичные свойства «революционера», как существа, отрицающего действительность во имя будущего, которого не будет, или прошлого, которого не было. Эти свойства характерны для «революционера», в какую бы краску он ни был выкрашен: в красную или в белую. И, право, маниакальная надежда на иностранную интервенцию если чем и отличается от готовности пожертвовать Россиею в пользу коммунизма, так только меньшею продуманностью и еще тем, что укрепившиеся в России *вынуждены* защищатьее интересы и неизбежно национализируются, а эмигранты-интервентисты столь же неизбежно денационализируются и связаны не с живою Россиею, а с архаической и безсильной мечтой. Для

революционного процесса в целом указанные свойства у белых столь же «существенны», как контр-революционная деятельность одного моего случайного петербургского знакомца. на вопрос любого приезжого, как пройти на такую то улицу, он всегда указывал обратное направление, чем и подрывал по мере сил советскую власть. В положительной своей части всякая революционная идеология (значит, и контр-революционная, т. е. отрицающая *факт* революции), в лучшем случае, отражает лишь *некоторые жизненные идеи народа*, но в такой абстрактной форме, что они остаются неосуществимыми. Сама же по себе революционная идеология отвлеченна, бессодержательна и, поскольку ее пытаются осуществить, неоспоримо вредна.

Поэтому , когда революционный правящий слой выполнит свою задачу , т. е. когда он своим утверждением в качестве фактической признанной власти закрепит отрицание старого правящего слоя и сделает восстановление его невозможным, — он явно обнаруживает вспомогательный и условный смысл своего бытия. Он жил бессознательною волею к власти и сознательным отрицанием всего старого , хотя и воображал, будто живет сознательно-творческою волею к будущему. Лишь только отрицание становится уже ненужным доктринерством, как оказывается, что положительного то, собственно , не было и нет С идеологией Руссо или марксиста можно жить только в мансарде, а никак не в нормальном государстве. *Сама жизнь требует преодоления старых идеологий.* Она уходит от них, и партийная идеология должна засохнуть.

Так революция переходит в новую, четвертую фазу — выдвигаются люди, потерявшие свою идеологию, а с нею и скромный запас своей совести. На место воров-идеологов приходят просто-воры У правящего слоя остается лишь голая власть, смысла которой она понять уже не может. Да и власть новой формации воров держится уже не напряженною волею к ней, а — создавшеюся революционною традициею, окрепшим государственным аппаратом и начинающей разлагаться партийной организацией. «Правители» живут изо дня в день, заботясь о себе и — по необходимости и в видах самосохранения выполняя государственно-настоятельные задачи. Идей и идеологии у них по существу уже нет, зато есть «палаты неудобь сказуемые», наворованное и накопленное добро и государственные навыки.

«Да, широконько размахнулись! — На Ленина. А теперь назад не поворотить—нет». Примерно ту же мысль, что и выраженная в этих словах одним мужичком шлиссельбургского уезда в 1919 г., высказывал и один штабной офицер во время наступления Юденича на Петербург. Он прямо кипел от ненависти к белым: «Оставьте! Сначала надо разогнать этих предателей и изменников. Большевиков мы и сами переварим». Оба отнюдь не были коммунистами, и я не склонен об'яснять их позицию каким нибудь личным или классовым эгоизмом. Победа же красных над белыми, которые в военном отношении стояли, во всяком случае, не ниже и настроены были не ме-

нее патриотически, показывает, что народ стоял за большевиков и что приведенные сейчас слова характерны. Он стоял за них не потому, что отрицал великую Россию, за которую самоотверженно проливали свою кровь и отдавали свою жизнь герои белых армий, но потому, что не видел за героическим патриотизмом белых национально-государственной идеи и не хотел ни спрятавшихся за белыми знаменами идеологов старого ни самолюбивых, но ничтожных, на миг вынесенных революционным водоворотом на поверхность политических авантюристов. Не белых героев и мучеников осуждал русский народ, а тех, кто притязал на руководство ими, губил их и пытался погубить новую Россию, да и теперь еще пытается. Однако, защищая большевиков, русский народ не коммунизм защищал. Ведь дикие расправы крестьян с коммунистами и, позже, упорное пассивное сопротивление именно «идеологическим» мерам слишком значительны, чтобы допускать сочувствие коммунистической программе. Коммунизм сознавался широкими слоями русского народа, как неизбежное временное зло, неизбежное потому, что народ сознавал настоятельную необходимость сильной власти, а кроме большевиков-коммунистов не было годных кандидатов. «Мы подаем за большевиков: их больше». Эта мотивировка голосования в Учредительное Собрание вовсе не так глупа и наивна, как думали интеллигенты, не понимавшие народного юмора. А лозунг : «мы за большевиков, но против коммунизма» и действительно мудрая, хотя и преждевременно появившаяся формула.

10

Описывая после-термидорианский период французской революции, «эпоху директории», историки обычно подчеркивают растущее равнодушие общества к политическим вопросам, усталость от политики. Точно в нормальное время политикою все страстно увлечены, и точно не всегда она является уделом сравнительно небольшой группы. «Страна устала от революции и политики». — Однако армии этой «усталой страны» одерживают все новые победы, генералы начинают вести свою и довольно энергичную политику и становятся государственными людьми и дипломатами, наступает оживление экономической жизни. Историки обстоятельно рассказывают о балах, о похождениях и нарядах гражданок Тальен и Богарнэ. А разве это не признак оживления? Что значит вообще заинтересованность общества политикой? — Любовь поговорить на общие философски-политические темы? Но всю бесплодность и нереальность подобных разговоров достаточно уяснили говоруны и доктринеры в национальных собраниях, клубах и на площадях. Едва ли разумный и деловой человек в современной России будет склонен обсуждать партийные программы, социалистические теории и прочие отвлеченности и называть политическою деятельностью

то, что понимали под этим именем дореволюционные студенты, дореволюционное интеллигентное общество или завсегдатаи салонов XVIII в. Если все это волнует еще эмиграцию, так на то она и эмиграция, т. е. пережиток погибшего прошлого. В период революционного под'ема и революционной борьбы политика затрагивала жизненные интересы каждого, при всем доктринерстве политиков деятельность их была конкретною, воспринималась как таковая, может быть, как раз благодаря их доктринерству. Нельзя не интересоваться обороной страны, кровавыми расправами, которые угрожают всякому реформами в «мировом масштабе», оказывающими свое воздействие не на мир, а именно на обывателя. Но идеология повыветрилась, ничего «мирового» больше не придумаешь; наступили серые будни революции. Кому они могут быть интересными? Кого может увлекать техническая работа специалистов, кроме них самих? Разумеется, жизненные задачи народа все еще стоят перед ним. Но они детализировались. Революция переходит в стадию своей конкретизации, в стадию медленного органическаго развития, которое всегда неприметно и для большинства не интересно.

Революционный правящий слой за исключением своей уже ни на что негодной верхушки переходит, как и страна, к серой повседневной работе. Воля и сознание народа получают возможность своего нормального и постоянного оформления в кристаллизизующемся правящем слое, а «верхушка» ничем удивить не может и не хочет. У нея нет прежней воли к власти — волевая и государственная стихия народа нашла себе (говорю о Франции) иную точку приложения там, где встают наиболее жизненные проблемы. — Армия собирает в себе государственность и волю народа. В армию переливается все живое и действенное; и в ней же нарождается новая идеология (Ош, Наполеон). Так же ранее все концентрировалось в конвенте и якобинской партии. А победами армии интересуется даже гражданка Богарнэ. Дело тут совсем не в усталости. «Усталая страна» дала и внешний и внутренний блеск империи, создала Code Napoléon и великолепную администрацию, смогла вынести напряжение непрерывных войн до 1815 г. и не погибнуть. Чувство усталости специфично для начального периода революции и для эмиграции. Здесь же дело не в усталости, а в иной точке приложения государственной стихии. Странно, что историки, вселяющие даже в бедную головку шестнадцатилетней гимназистки положение: «Наполеоновская армия была сильна духом организованной демократии», понимают армию примерно так же, как понимал ее Аракчеев. Если бы народ от революции «уставал», не следовал бы за революцией период национального и государственного расцвета (колониальная империя Англии, империя Наполеона).

«Аполитизм» широких слоев об'ясняется, с одной стороны, тем, что государственная стихия, входя в свое нормальное русло, концентрируется в правящем слое и—там, где есть к тому данные—утекает в армию, а с другой стороны тем, что народ чувствует свою революцию уже обеспеченной.

Он уже обладает новым правящим слоем — теми, которые переродились за время революции и частью приняли на себя бремя жизни и незаметной, но тяжелой и конкретной деятельности в болоте государственного аппарата, и теми членами партии, которые очухались от своего доктринерства или носили только личину его в целях самосохранения и тоже сидели в болоте. Однако этот правящий слой не может уже возглавляться «вождями революции», которые безнадежно себя скомпрометировали и среди которых очень немногие обладают таким чутьем реальности, как Кромвель, Дантон и, несмотря на весь свой тупой фанатизм, Ленин. К тому же часть нового правящего слоя — говорим о Франции — находится в армии, и проблема заключается в амальгаме этой части с годною частью революционного правящего слоя, т. е. в консолидации нового правящаго слоя.

Таким образом встает последняя проблема революции. — *Народ должен найти свое настоящее правительство*, которое бы в тесной связи с правящим слоем взяло в свои руки выпадающую из рук его главарей власть и покончив с революционным доктринерством, осмыслило новую государственность и само появление свое во главе ее *ясными и конкретно действенными идеями*. Этих идей создать революция не может: революция является так сказать формальным процессом. Национально-жизненные и абсолютно обоснованные идеи коренятся в глубине народного сознания; и революция, потрясая его и разрушая их искажения в идеологиях, может лишь способствовать их нахождению, принципиально мыслимому и без всякой революции Поэтому *новая национально-государственная идеология возобновляет связь с прошлым и возвращает народ на его историческую дорогу*, с которой он сошел в эпоху революции, иногда же и задолго до нее.

Конечно, намечаемый процесс может и не совершиться или совершиться только в малой степени. Большие трудности лежат не только на пути к нахождению национально-государственной идеологии. Труден и самый переход к новой власти. Кто сможет его совершить? какие, пока еще неизвестные лица? И какая сила даст последний решающий толчок в грудь или в спину заколебавшемуся уже революционному правительству?

11

Не выходя за пределы феноменологического исследования, можно только в общих чертах наметить сферу проблем, с которыми связаны новые национально-государственные идеи. — Прежде всего должен быть упорядочен хаос политических отношений, в котором старое перемешалось с новым, а новое частью случайно и ненужно, частью намечает существенное, но неудачно выражено и фрагментарно. Эту задачу не совсем правильно, хотя и высокопарно принято называть «закреплением завоеваний революции». И она шире того, что в нормальных условиях об'емлется понятием «поли-

тического». Ведь в революции вся жизнь , все ее сферы и стороны предстают как «политическое». А потому консолидация революции распространяется и на так называемые социально-экономические отношения, которые вместе с застыванием народной стихии снова обособляются и могут быть противопоставляемы политическим в специфическом смысле этого слова.

К определению и утверждению политического и социально-хозяйственного строя стремилась и революционная власть. Но, во первых, она писала свои законы и кодексы на поверхности несущегося потока или случайно и несистематически санкционировала то, что само собою росло и крепло. А во вторых , она пыталась на место создающегося скелета подсунуть непрочную и никому не нужную сеть своей идеологии. У нее не было положительных задач. Не следует, однако, понимать проблему новой власти превратно. — Ее задача не в том, чтобы создать какой-то незыблемый строй, а в том, чтобы найти его основания и открыть путь органическому развитию , из за остановки которого извне и произошла сама революция. Поэтому политические и социальные формы могут еще много разменяться. Еще не миновало время исканий—миновало лишь время экспериментов и фантастики и стало возможным воссоединение нового с традиционным, прошедшим через огонь революции.

Политическое самосознание и самоопределение народа не может быть только внутренним. оно должно направиться и во вне — быть самоопределением народа в его отношении к другим народам-государствам. Поэтому-то всякая революция теснейшим образом связана с международными войнами и потрясениями. Революция начинается с войны или завершается войнами; иногда же — и то и другое. И новая национально-государственная идеология всегда так или иначе распространяется на сферу международных отношений. На одно из оснований этого — на обострение национально-государственного сознания — мы уже указали. Есть и другое, более глубокое. — Всякий народ входит, как живой организм и орган, в некоторое большее, неудачно называемое между-народным единство, которое является высшею симфоническою личностью. Так народы-народности России слагаются в народ-культуру, которая до революции называлась Россиею и которую правильнее назвать Россией-Евразией. Такою же симфоническою личностью является Европа, состоящая их ряда народов-государств. Однако не только евразийско-европейское, но и европейское единство еще не актуализовалось до степени личного бытия: не вылилось в форму государственности, как Евразия. Единство (даже только европейское) выражается здесь лишь как неустойчивая система союзов, антант и коалиций, как священные союзы и лиги наций, немногим больше связывающие друг с другом европейские народы, чем любой из них с Бразилией. Тем не менее это единство, эта симфоническая личность известною эмпирическою реальностью все же обладает. И естественно , что оно сказывается в эпохи революций. А. Сорель очень хорошо показал, что французская революция была, собственно говоря, об-

щеевропейским процессом, во Франции достигшим лишь своего кульминационного пункта. Аналогично отношение между английской революцией и обще-европейским реформационным процессом, который и заканчивается английскою революцией и тридцатилетнею войною. Несколько иначе обстоит дело с русскою революциею, что об'ясняется противостоянием «Европа — Евразия». Будучи государственным перерождением Евразии, которое обусловлено натиском на нее со стороны Европы, русская революция есть вместе с тем и реакция России на ее европеизацию, и саморазложение европейской культуры, принявшее особенно острые формы именно в России.

Таким образом во «внешнем » и «внутреннем» самоопределении народа проблема заключается не только в установлении форм его политического и «международного» бытия и не только в раскрытии специфических ценностей его государственности и культуры. Для полного обоснования народных идей требуется еще и постижение их как *особой*, возложенной Богом именно на данный народ *миссии*, которая обладает ценностью для *других народов* и *абсолютною ценностью*, являясь вместе с тем индивидуализацией и конкретизацией общечеловеческой и Божьей идеи. Само собой разумеется, что все это опознается людьми, особенно же в эпохи революций и самими революционерами, очень несовершенно и абстрактно. Отсюда — искажения основных идей, такие искажения, как шовинизм, национализм, империализм и т. п. Но даже революционеры почерпают последнее основание своей идеологии и своего пафоса в абсолютно-значимых идеях. Так и французы мечтали облагодетельствовать человечество своим просвещением и большевики соединяли с этим похвальным, хотя и наивно-гордым стремлением идею о жертвенной миссии русского народа.

В целом развития христианской культуры эпоха возрождения — реформации представляется мне временем , в которое обнаружилась конкретно еретичность и обреченность католически-романской культуры. Европа начала устраиваться на земле без Бога и ополчилась на свою религиозную основу. Религиозная же стихия, чрез немецких мистиков, Николая Кузанского, Эриугену, иро-скотское и раннее галльское монашество связанная с традицией вселенского Православия , смогла себя выразить только в ущербной и тоже еретической форме германского протестантизма. Схватившись за оружия века сего и теснимый католически-мирскою и романскою культурою он попытался в Англии пересоздать европейскую культуру на истинных основаниях, которых не понимал сам Не успев в этом, он взялся за устройство новой жизни на девственной почве Америки. А между тем в самой Европе последовал второй революционный взрыв, который был связан с попыткою все более омиршавшейся католически-романской культуры устроить свое земное царство с помощью , казалось бы, уже осужденных опытом XVII века способов. Начало XIX века увидело новую борьбу за осуществление наивной и еще бессознательной грешной мечты Карла Великого; начало XX -го стоит перед страшным призраком гибели культуры, гибели, которой

не предчувствовали наши отцы и деды, с головою ушедшие в схоластику Канта и «научного» материализма. Французская революция, которую и теперь еще многие считают «хорошей» и благотворной для человечества, принесла свои самые зрелые плоды — социалистический интернационал и общеевропейскую войну. И это было столкновением европейской католической культуры с православною культурою, которое разыгралось в сердце России. Ведь денационализировавшийся русский правящий слой и был «Европою в Евразии».

Всем этим революция не превращается в «творческий» процесс. Революция — одна из форм исторического процесса, «творческого» до нее и после нее. Ничего нового революция, как таковая, не приносит: новое приносит сам исторический процесс, который в эпоху революции замедляется и почти что топчется на месте. Но именно потому, что в эпоху революции суб'ект развития как бы разлагается и плавится, революция во многих отношениях лучше раскрывает его природу и его взаимопротиворечивые тенденции, не столь резко и обнаженно выступающие в периоды мирного развития. В момент смерти старого и рождения нового обнажается и сама природа симфонической личности и абсолютные основания ее бытия. Каков смысл революции и при каких условиях она наступает?

— Симфоническая личность подходит к осуществлению труднейших и основных своих задач, которые требуют ее предельного напряжения и связаны с самим существованием ее или, вернее, с существованием данной ее формы, данной симфонической личности, меньшей, чем она в целом, но именно *ее* индивидуализирующей. Ведь всякая культура и всякий народ представляют в целом своего развития некоторый ряд сменяющих друг друга симфонических личностей; в этом смысле симфоническая личность должна быть уподобляема не индивидууму, а роду. Так следует различать Киевскую Русь от Руси Северо-восточной и Московской и далее от России императорской, которая начинается со Смуты, и новой нарождающейся России. Все это — одна симфоническая личность, аналогичная, например, европейской культуре, но личность реальная, как единство или «род» названных сейчас меньших симфонических личностей. Это ясно даже с этнологической точки зрения: мы наблюдаем соответствующий ряд этнологических субстратов развития.

Когда симфоническая личность подходит к жизненным своим проблемам, она обнаруживает свое бессилие их осуществить, что часто и выражается в чувстве усталости и скуки и в суете внешней деятельности («après nous le déluge» во Франции и «расцвет» России перед войной). Личность неспособна познать и осуществить, как целое всю полноту предносящихся ей задач. В своем познании и в своей деятельности она раз'единяет и абстрагирует, а потому сама начинает разлагаться и становиться абстракцией, т. е. рассеиваться. Вместо подлинного — всецелого, целомудренного напряжения получаются отдельные, не координируемые друг с другом и сменяю-

щиеся периодами прострации, «истерические» порывы. Они производят внешнее впечатление бурной энергии и силы; на самом деле они — проявления бессилия. Это — смертельная болезнь личности. Это — ее смерть. Нравственно это — вольное «нерадение» или «*вольная* немощь», т. е. грех; догматически же ересь, как разделение и своевольный выбор части (абсолютирование относительного). Но если революция — смерть симфонической личности («старой», «царской» России), в смерти старой личности рождается новая, новая индивидуация высшей личности, которая не умирает и для которой революция является перерождением или рождением ею в муках новой ее выражающей личности. Конечно, может быть и без рождения нового: тогда революция есть вместе с тем и смерть самой высшей симфонической личности, гибель культуры*). Процессы смерти и рождения протекают в индивидуумах и не совпадают обязательно с физической индивидуальной смертью. Поэтому долго еще могут существовать живые мертвецы Поэтому во многих умирает старое, но рождается новое. многие «перерождаются» в людей новой России, а другие становятся иногда даже не плохими экземплярами какой нибудь другой культуры, например — европейской.

Являясь грехом, ересью и смертью, революция в эмпирическом развитии человечества заблуждается , грешит и умирает. Но так же, как греховность и ограниченность человека не уничтожает его свободы, хотя и умаляет ее, так же неизбежность революции не ведет к историческому фатализму.

Мы должны были кратко коснуться природы революции (ее онтологии), чтобы лучше уяснить себе ее феноменологию. — Немощь симфонической личности и умирание ее и есть прекращение ее личного бытия в эмпирии. Личное же бытие ее в эмпирии связано с государственностью ее , а государственность — с правящим слоем и правительством. Равным образом возрождение ее через смерть или выздоровление предполагают рождение нового правящего слоя и нового правительства, т. е. новое ее государственное бытие. Так как она возрождается к *своей* жизни, перед нею встают ее задачи; и для обоснования их она должна в себе самой, в своем прошлом и в своем настоящем искать *абсолютно-значимые, оправдывающие и осмысляющие ее новую жизнь идеи*. Она, разумеется, может в разной степени приближаться к их опознанию, к выражению их в своей идеологии и своей деятельности. От степени этого приближения в значительной мере зависит характер окончательного преодоления революции.

---

*) Впрочем смерть культуры характеризуется типичными чертами, отсутствующими в революции, и наличными в современной европейской действительности. Ср. Римскую Империю IV-V вв. Здесь мы этого вопроса касаться не можем.

В связи с преобладанием в государственном самоопределении народа внешнего момента и, следовательно , в связи с тем, что наиболее активные элементы сосредоточиваются, как это было во Франции, в армии, естественен переход к военной империи. К тому же прикосновение к абсолютным основаниям жизни легко, особенно в склоняющейся к эмпиризму культуре, приводит к релативизации их в идеологии мирового владычества. Так возникла империя Наполеона. Существо не в том, что армия участвует в перевороте — подобное участие возможно везде и никакого «бонапартизма» за собою еще не влечет. Бонапартизм появляется лишь там, где армия оказывается подавляющею и всепоглощающею силою, где она становится носительницею самой идеи народного государства и увлекает народ славою внешнего расширения и завоеваний. Это — внешняя аналогия и случайное совпадение, если французы сопоставляли генерала Бонапарта с генералом Монком, существенно от Бонапарта отличавшимся. Жертвою *внешней* аналогии делаются, как мне кажется, и некоторые русские люди, надеясь на появление «русского Бонапарта». Роль и значение красной армии вовсе не похожи на роль и значение революционных армий Франции. И едва ли национальный русский характер отражен в Екатерининском «Гром победы раздавайся, веселися храбрый Росс!» У красной армии есть большие заслуги перед Россиею. У нее есть некоторая реальная сила, которая может оказаться полезною в ближайшее же время, есть даже творимая легенда. Но она — лишь одна из слагающих современной русской государственности и отнюдь не главенствующая.

Реставрация, как другой вид преодоления революции, предполагает жизненность «реставрируемых» старых форм и обосновывающих их идеологий и настроений Такою жизненностью обладали в Англии парламент, который можно было реформировать и разгонять, но нельзя было уничтожить, и королевская власть, в России XVI-XVII в. — земский собор и самодержец. Но нельзя признать жизненными традиции Государственной Думы или Учредительного Собрания, как и традицию русской монархии, для дискредитирования которой сделано, к сожалению, все возможное. Правда, крестьяне , на которых уповают наши монархисты, может быть, и сейчас еще поговаривают о необходимости «хозяина». Но отожествление «хозяина» с самодержцем представляется мне незакономерным конкретизированием мужицкой мысли. Мне вспоминается и кажется предпочтительнее крестьянская же формула: «Нам нужен не царь, а помазанник». Всякие ссылки на то, что говорил какой-то мужичок, нуждаются в очень осторожном к ним отношении. Надо не забывать, что русский мужичок умнее и хитрее русского монархиста. Он не станет здорово живешь делиться своими заветными думами с барином, а вместе с тем он слишком расчетлив или в иных случаях слишком жалостлив, чтобы не утешить растрепанного барина-интел-

лигента ни к чему не обязывающим поддакиванием С другой стороны , будущая формула русской государственности зависит не от претендентов, не от эмигрантов, хотя бы они и возвращались к временам Шишкова в своих торжественых речениях о «вожде» (почему заодно не переименовать генералов в «воевод»?), и даже не от мужичков, а более всего — от нынешнего правящего слоя.

Конечно, нельзя с полною уверенностью утверждать, что окончательное преодоление революции не осложнится «случайностью» временной реставрации Это не исключено, хотя и невероятно и — с точки зрения русских интересов — нежелательно. Если же невероятны ни военная диктатура (империя, «бонапартизм») ни реставрация, должен быть какой то иной исход. Возможно постепенное эволюционирование нынешнего правящего слоя и появление у власти (в результате «дворцового» или партийного переворота) еще никому не известных людей. Постепенность перехода вполне соответствует государственной мудрости русского народа, до сих пор блестяще подтвержденной всем течением революции. Но в ней есть опасность без'идейности и загнивания новой государственности, что уже не соответствует ни государственной мудрости, ни избытку сил возродившегося чрез революцию народа, ни открывающимся перед ним величавым задачам. Ведь потому и есть некоторые шансы у бонапартизма и реставрации, что и тот и другая обманывают народ, блестящую внешность и мнимую народность выдавая за народный идеал, вместо которого у них пустота. Наилучшим исходом надо считать возникновение новой правительствующей «*партии*»*), которая бы, принимая

*) Правительствующую или единую и единственную партию надо принципиально и четко отличать от партий в европейском смысле слова, которые никогда не бывают и не могут и не должны быть единственными. Европейские партии связаны с парламентскою, специфически-европейскою формою демократии. Они не совместимы с последовательно проведенною советскою системою и на ее почве возникнуть не могут. *Некоторую* аналогию единственной партии представляет итальянский фашизм, столь радостно приветствуемый в среде эмигрантских реставраторов, и весьма характерно, что он нудит к новой форме демократии. Однако он отличается от революционной партии прежде всего именно этою вторичностью государственной проблемы, что угрожает рационалистическим ее разрешением, тогда как в России дана исконная органическая связь государственности с единою партиею, хотя и перерождающеюся из партии старого типа. Кроме того, фашизм — современное *европейское* явление еще и потому, что он лишен абсолютно обосновываемой и значимой, «религиозной» идеологии. Ему таким образом угрожает опасность Наполеоновской империи — подмена абсолютных заданий внешними, именно — империалистическою политикою. Еще два слова истерическим защитникам идей демократии (конечно, европейской), обвиняющим нас в защите диктатуры. — Существование правящего слоя является необходимым социологически. Он может быть неорганизованным, как в современной Европе. Но

факт и положительные результаты революции, растворила в себе революционную партию и выдвинула новое идейное содержание, осмысляющее готовую уже государственность.

Революционеры оттого, вероятно, так и кричат о своих творческих усилиях, что они — существа наименее оригинальные и наиболее подражательные. Они стремятся к новой жизни вследствие родства своего с обезьянами. Французы подражали Верресам и Катилинам; русские подражают Маратам и Баррасам. Вероятно, дождутся подражателей и русские. Над сознанием революционера господствует страсть к трескучей фразе и шаблонному героизму. Но не в громких декламациях и не в актерском героизме

тогда он сам себя обессиливает, а жизнь приводит к тому, что в попытках его самоорганизации он дифференцируется на враждующие друг с другом «части» или «партии» и вызывает к жизни парламентаризм. Мы же считаем наиболее целесообразным единую его организацию на основе несомненных исходных идей и общегосударственных, а не частных, партийных или «классовых» задач, решительно и до конца отвергая классовую гипотезу государства. Такая единая организация необходимо приводит к единой правительствующей партии, которую, может быть, лучше, в отличие от европейских партий, называть как нибудь иначе, например союзом. Будет ли это диктатурою? — Диктатура в обычном смысле слова предполагает: 1) произвол правящего или правящих, 2) отсутствие твердых, связывающих и их самих норм, 3) осуществление правительством своей, а не народной воли, 4) отсутствие так называемых суб'ективных публичных прав. Но мы утверждаем не произвол единой партии (1), а осуществление ею именно народной бессознательной воли (3), обеспечиваемое органической связью ее с народом (советская система); отсутствие же твердых норм (2 и 4) мы считаем признаком революционного процесса, как такового, исчезающим вместе с «консолидацией революции». Однако в понимании этих норм и «суб'ективных публичных прав» мы основываемся не на индивидуалистических предпосылках европейского правосознания и умеем отличать теорию права от государственного искусства. Принципиальное разграничение между государством и индивидуумом должно быть и в здоровом государстве не быть не может. Но, во первых, нельзя изъ их взаимоотношений исключать динамизм и борьбу; а во-вторых — конкретно и эмпирически сферы государства и индивидуума (а также и социальных групп) по содержанию своему не могут быть разграниченными раз навсегда и абсолютно. Конкретное их разграничение как раз и относится к области государственной техники. Мы являемся решительными врагами трескучих фраз и сантиментальных формул там, где надо делать общее дело. Поэтому же мы хотим для России сильной власти, а не нового временного правительства и не европейских форм демократии. И если противникам угодно обвинять нас в стремлении к диктатуре на манер бывших в Европе, мы столь же спокойно отнесемся к этому обвинению, как и к лживому, но, вероятно, согласному с европейскими демократическими нравами приписыванью нам сочувствия коммунизму или антисемитизму.

задача рождающейся из революции новой власти, а в напряженном и скромном сером труде. Бряцание оружием и блеск побед — опасная и дорогая забава, отвлекающая от ближайших задач к весьма проблематическому будущему. Новая власть должна предстать прежде всего как скромно-деловитая, трезвая и серьезная: в этом ее смысл и ее природа. Большое несчастье, если призванные быть ею осуществляют это задание только частично, на вторых местах — за непрочным фасадом военной империи или случайной реставрации. Элементарные идеологии бонапартизма или реставрации становятся на место элементарной революционной идеологии потому, что природа не терпит пустоты и павшая идеология должна быть чем то заменена. Для того, чтобы новая власть была народною властью, а не коллегией ловких приказчиков, управляющих без хозяина, *нужна новая идеология*. Таким образом завершающий революцию политический процесс создания и утверждения новой власти должен сопровождаться процессом *идейного творчества — сознанием и определением народных идеалов, их религиозным об'яснением и оправданием*.

Великий Наполеон был великим обманщиком , обманывавшим и себя самого. Справедливое презрение к «идеологам» (т. е. к идеологам-доктринерам) помешало ему понять значение абсолютных идей и превратило в «идеолога» его самого Он стал национальным героем потому, что , утверждая «завоевания революции» внутри, провозгласил приятные и увлекательные для всякого француза задачи, по грандиозности своей сходившие за абсолютные. С той поры и доныне Франция живет «идеями» Наполеона, вероятно из скромности называя их «естественными границами», лигами наций и защитою прав человечества, толкуемых применительно к градусам географической сети. Если мы присмотримся к руководящим идеям Франции после революции и к выростающим на почве их идеологиям , мы легко убедимся, в их неосуществленности, неосуществимости и безжизненности. Ведь все это — доктринерская абстрактная фразеология, прикрывающая собою весьма практическое, конкретное, но и относительное стремление — эгоистическую волю к господству и «буржуазному» самодовлению. Скучно.

Английская революция закончила религиозную историю Европы, хотя религиозность и продолжает быть истинным основанием европейского развития и европейских революций· она лишь не опознается, как таковое, и отожествляется с глупою релативистическою фразеологиею. Отрицают Бога, чтобы считать (но не называть даже) богами идолов. На неумении найти абсолютное основание, т. е. раскрыть проблемы и миросозерцание Православия, сорвалась Россия в эпоху «Смуты», что и сделало возможной насильственную европеизацию, начавшуюся при Петре и достигшую апогея в коммунизме*). Таким образом в русской революции снова поставлена и

*) Этим нисколько не отрицается, что Петр и даже весь почти императорский период продолжали и русское национальное разви-

не решенная первою русскою революциею, т. е. «Смутою», проблема: быть или не быть России сознательно-религиозною, быть или не быть *ей* особым культурным миром (Евразией), т. е. — кратко и просто — быть или не быть ей вообще.

Твердая уверенность в исключительной государственной одаренности русского народа, т. е. в его жизнеспособности, приводит меня к утвердительному ответу на этот вопрос и позволяет мне надеяться, что русский народ избегнет и Скиллы монархической реставрации и Харибды «бонапартизма». В самой революции своей русский народ остается наиболее религиозным народом. Это утверждение всегда казалось мне самоочевидным и недвусмысленным; казалось бы таким и теперь, если бы не старания, впрочем, более бурнопламенные, чем умные, усмотреть в нем какую то «мистагогию зла». — Сотворенная Богом личность (как индивидуальная, так и симфоническая) *злом* быть не может, а зло никогда не может быть личностью («злая личность» не равнозначна — «личности-злу»). Зло не личное бытие, не самобытие, а грех личности или, по определению святых отцов, вольное нерадение ее. Конечно, русский народ грешен и сугубо грешен в своей революции, какой бы аспект ее. революционное собственно или контр-революционное человеко-ненавистничество, мы ни взяли. Но и в грехе своем он остается религиозным, хотя бы этого не сознавал и, плохо зная европейские языки, переводил свою религиозность словом «атеизм». Религиозна его революция не по тем «положительным» задачам, которые выставляются ее «вождями» и осуществляются как братоубийственная бойня и борьба с Церковью, но по тому, что в красных и белых идеологиях искажается, что является «сущим во зле». И здесь сами сила и ужас всенародного греха свидетельствуют о силе религиозной природы и религиозного напряжения в русском народе.

Таким образом самою настоятельною задачею переживаемого момента является выработка *нового* религиозно-национального миросозерцания. Необходима новая установка и новая идеология. Пускай, как и всякая идеология, она будет выражать «идейность» новой России ограниченно, несовершенно, сначала даже примитивно. В этом не будет большой беды, если правильно к ней отнестись. Правильно же отнестись к ней значит преодолеть революционно-доктринерскую установку, т.е. в себе самих преодолеть преодолеваемую Россией революцию. Конечно, это новое религиозно-национальное миросозерцание не должно оставаться в сфере абстрактных принципов.

тие. — Национальное развитие продолжалось и достигло больших успехов *несмотря* на европеизацию. Но оно достигло меньшего и менее прочного, чем то могло быть без европеизации. Различать в Петре ложное от истинного не значит отрицать Петра. Это значит только одно — не быть доктринером (революционером) и не идолопоклонствовать.

Оно должно привести к определенной конкретной программе, построяемой на основе признания того, что выяснилось в революции , как положительное. Таким образом в эту программу должны войти и основы «советской системы» и решение социально-экономической проблемы в смысле признания за собственностью *функционального* значения, что одинаково далеко и от идеи священной собственности и от социализма. Здесь внутренняя проблема России и оказывается ее историческою миссиею.

Впрочем, таким образом мы уже выходим за пределы «феноменологического» исследования и ставим вопрос о смысле революции и всей русской истории. Феноменологически важно лишь указать на значение идеологии. А всякая идеология обречена будет на недейственность, если ее появление и развитие не будет сопровождаться созданием новой правительственной партии, которая и должна стать на место коммунистической партии осью уже создавшегося нового правящего слоя.

Л. П. Карсавин

Берлин, 1926 май.